

ЕВГЕНИЙ ВОЙСКУНСКИЙ

МИР Тесен



Евгений Войскунский

Мир тесен

«WebKniga»

1990

Войскунский Е. Л.

Мир тесен / Е. Л. Войскунский — «WebKniga», 1990

Далеко не каждый из многочисленных поклонников писателя-фантаста Евгения Войскунского знаком с другой стороной его творчества, основанной на жизненных впечатлениях капитана III ранга, кавалера двух орденов Красного Знамени, участника героической обороны Ханко. «Мир тесен» – это роман-воспоминание, своего рода групповой портрет поколения, подросшего как раз к самой войне и принявшего на себя страшную тяжесть ленинградской блокады и сражений на Балтике. Действие заканчивается в победном мае 1945 года, но судьбы героев в эпилоге протянуты до 80-х годов. Через всю книгу проходит история борьбы за восстановление доброго имени одного из храбрейших бойцов-балтийцев, попавшего в беду.

© Войскунский Е. Л., 1990

© WebKniga, 1990

Содержание

Предисловие	5
МИР ТЕСЕН	7
Часть первая	7
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Евгений Войскунский

Мир тесен

Светлой памяти жены и друга Лидии Владимировны Войскунской

Предисловие

Старшего брата у меня не было. Но были товарищи постарше.

В то время как моим одноклассникам предстояло еще несколько лет учиться, те были уже на взлете, примеривались к будущим профессиям (нам на зависть!). Помню красивый голос Коли Мерперта, читающего монолог Отелло и явно мечтающего стать вторым Остужевым.

Вот и бакинский юноша Женя Войскунский поступил в ленинградскую Академию Художеств. «Прекрасным летним утром я шел по Невскому проспекту, – вспоминал он десятилетия спустя, – и у меня дух захватывало от его красоты... лучший в мире город приветствовал меня блеском витрин, звоном трамваев...»

Но по недавнему воинскому закону вскорости предстояло идти в армию. В октябре 1940 года новобранец оказался в гарнизоне той самой военно-морской базы на Ханко, ставшей несколько месяцев спустя местом жестоких боев. «Пять месяцев мы держали этот полуостров, обсыпанный, будто крупной, мелкими островками», – говорится в романе Е. Войскунского «Мир тесен».

После же этой тяжелейшей обороны предстояло испытать драматический переход в Кронштадт по заливу, буквально напшигованному минами, когда подорвался огромный теплоход «Иосиф Сталин».

В свое время, еще на Ханко, недавнему студенту Борису Земскову (от чьего лица ведется повествование) была невыносима мысль о погибшем и не похороненном друге. Память же об оставшихся на «Сталине» живых людях, желание узнать их дальнейшие судьбы и причины, почему им не пришли на выручку («Ушли, значит, корабли, а они остались на минном поле. И все ждали, что придут их сымать. А море пустое»), – все это не может уняться за всю жизнь Земскова, побуждая к «бестактным» обращениям к «высокому» начальству, «излишним» расспросам, что иной раз не лучшим образом сказывается на его собственной флотской службе.

Есть среди других эпизодов войны на Балтике, в изобилии существующих в романе, краткое упоминание о неудачном, несмотря на весь проявленный тогда героизм, десанте на эстонское побережье. И вот уже в совсем недавнем новом романе Войскунского «Румянцевский сквер» с той же неслабеющей «земсковской» страстностью воскрешена, воспета и оплакана история этого батальона морской пехоты, высаженного «ночью, продутой ветром, чреватой бедой» в ледяном феврале сорок четвертого возле деревни Мерекюля.

История, не дающая покоя немногим уцелевшим ее участникам и свидетелям и прочно связывающаяся в их мыслях и чувствах со всем драматизмом прошлого и настоящего. Горечь за искалеченные судьбы (будь то мытарства попавшего в плен десантника Цыпина или «Житие Акулиничя», как названа глава о сыне «врага народа», который уже совсем в позднюю советскую пору в свою очередь сгинет в «родимом» концлагере) соседствует в книге с гневным презрением к казенному равнодушию и в особенности – к разжиганию межнациональной розни.

Политиканы вроде Самохвалова пользуются нынешней растерянностью и угнетенностью многих людей из поколения, вынесшего все тяготы войны. Больно читать в последнем сборнике стихов жизнерадостного в прошлом Михаила Дудина (послужившего в значительной мере прототипом Сашки Игнатьева в романе «Мир тесен»):

И ворон простер над пространством крыла.
И – ни огонька в утешенье.
Была ли победа? Была да сплыла!
Осталось одно поражение.
И нет половины России. И нет
Великой и дерзкой отваги.
И мрачен холодный и мутный рассвет.
И выцвели гордые флаги.

«Вам чего дали за вашу победу? Дырку от бублика?» – слышит Цыпин от сына, верящего, будто Самохвалов «болеет за русский народ», да он и сам, увы, прислушивается к надрывным речам этого оратора, натравливающего на «иностранцев», якобы повинных во всех несправедливостях и бедах.

О страшных последствиях подобных «теорий» рассказано в романе «Девичьи сны». Еще недавно бакинцы гордились своим городом как «самым интернациональным в мире». «На национальность разве смотрели?» – говорит старожил, заслуженный бурильщик-нефтяник, армянин Галустян, чью дверь теперь зловеще метят крестом – прямо как в средневековье.

«Сегодня из Баку выгоняют армян, завтра возьмутся за евреев, за русских», – причитают в другой семье.

С явственной личной болью передает писатель, в юные годы которого «вокруг шумел, гомонил пестрый многоязычный город, прильнувший к теплomu морю», драматические переживания тех, для кого теперь «родной город словно стал чужим», неузнаваемым. В нем бесчинствуют толпы, в которых, по горестным словам одного из персонажей, «легко раствориться всему человеческому, что есть в человеке». «Город будто захватили дикие кочевники», – ужасается другой, чьих близких, как и его самого, вскоре накроет кровавая волна погромов. И вот уже течет, течет «понурая река» вынужденных беженцев «нежелательных», «нетитульных» национальностей.

Чтобы описать такое, равно как и митинги-шабаши аж на прославленном Румянцевском сквере, нужно было немалое мужество!

Евгений Войскунский хорошо известен многим читателям и как научный фантаст. Написанный им в соавторстве с И. Лукодяновым «Экипаж “Меконга”», по мнению критики, был «одной из тех книг, которые... создавали знаменитую фантастику 60-х».

Однако, чуть не полвека поработав в этом литературном жанре, Евгений Львович в мемуарах признавался: «В общем-то, при всей своей давней любви к фантастике, я вступил под ее зеленые кущи довольно случайно. Человеческие истории, судьбы людей моего поколения привлекали меня куда больше...»

Для определения же главного, не остывающего с годами писательского пафоса кажутся чрезвычайно уместными слова, сказанные в романе Е. Войскунского «Кронштадт», отмеченном премией имени Константина Симонова: «Воспоминания обрушиваются, как волны на берег... откатываются... набегают вновь».

Сдается мне, что всплеск той же волны ожидает нас и в новой книге, которая сейчас в работе у стойкого девяностолетнего «ханковца»!

Андрей Турков

МИР ТЕСЕН

роман

Часть первая НА СКАЛАХ ГАНГУТА

*Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...*

А. Твардовский

Финское название этого островка, затерянного в ханковских шхерах, было трудное. Мы называли его «Молнией»: на карте он выглядел как зигзаг, которым обычно изображают молнию. Он был маленький, за десять минут обойдешь, но, думаю, если б разглядить нагромождения скал, то его площадь увеличилась бы намного.

Четвертого августа на Молнию высадился наш десант. Я в том бою не участвовал. Мы с Толей Темляковым и Сашкой Игнатьевым попали на Молнию две недели спустя.

Финны сделали попытку отобрать остров, они оттеснили десантников, оставшихся в живых, на его южную оконечность. Телефонная связь прервалась, и в штабе десантного отряда на острове Хорсен не знали точной обстановки на Молнии. С ночи там гремел, то затухая, то снова разгораясь, бой. Под вечер приплыл с Молнии старшина второй статьи Андрей Безверхов. Финны стреляли по нему, он плыл под водой, меняя направление и выныривая, чтоб глотнуть воздуха. Проплыв метров семьсот, Безверхов вскарабкался на крутой гранит Хорсена и повалился плашмя. К нему бросились бойцы с ближайшего наблюдательного поста, стали поднимать, но Безверхов вдруг сам вскочил и побежал в глубь острова, к штабной землянке. Я как раз дежурил на КП у телефона и видел, как он вбежал – в одних трусах, худой и белокожий. Мокрые черные волосы лезли ему в глаза. Задышавшись, бурно дыша, Безверхов шагнул к командиру отряда, вставшему навстречу. Вытолкнул из горла несколько судорожных фраз. Капитан велел ему выпить спирту и лечь отдыхать.

Резервный взвод мичмана Щербинина был поднят по тревоге, и уже минут через пятнадцать два мотобота из хорсенской флотилии, стуча дряхлыми керосиновыми движками, почпали к Молнии. Обогнув Старкерн, мы увидели в синей вечерней мгле черный силуэт Молнии. Там было тихо. Отвратительно громко стучали движки мотоботов.

Я сидел в корме, у борта, и следил, как разматывается с катушки телефонный провод, уходя в темную воду. Надо было восстановить связь, для того меня и послали с десантом. Подражая более опытным бойцам, я завязал ленточки бескозырки под подбородком – чтоб ветром не сдуло. Но вечер был тихий, ветра хватало только, чтобы слабо колыхать кроны сосен.

Ребята сидели молча, кто-то курил в кулак, вился махорочный дымок. Щербинин стоял рядом со мной, в заломленной мичманке, с трофейным автоматом «Суоми» на груди. Черную бородачку задрал – всматривался в молчащую Молнию. За нашим головным мотоботом шел второй, тоже набитый десантниками. Там, я знал, командиром отделения шел Шамрай. Мой друг детства Колька Шамрай – надо же, чтобы мы встретились на Ханко, черт-те что, жили в Питере по соседству, и теперь вот...

Я увидел: с Молнии в нашу сторону потянулась светящаяся трасса, тяжело застучал пулемет, свистнули пули. Я пригнул голову. Лечь бы ничком, вжаться в деревянное днище мотобота. Но мне нужно было следить за проводом. Мотобот маневрировал под огнем, прибавлял ход, внезапно убавлял, и мне приходилось здорово присматривать, чтобы в этой кутерьме провод не намотало на винт. Огонь вдруг разом прекратился. Несколько минут мы шли в полной тишине, только движки тарахтели на всю Финляндию. Кто-то с Молнии замигал нам фонариком. Это наши показывали, куда надо приставать, и комвзвода Щербинин велел рулевому держаться на вспышки.

Андрей Безверхов (он отказался отдыхать и, раздобыв бушлат и брюки, пошел с нами) привстал в носу мотобота, взгляделся и крикнул, глотая окончания слов:

– Щерби-и! Это финики сигналият! Давай впра-а! Пра-а руля, говорю!

На Молнии поднялась стрельба. Там возобновился бой. Безверхов всматривался в перебегающие вспышки, пытался по ним уточнить место наших, – ведь за то время, что он отсутствовал, на Молнии многое могло перемениться.

– Правее, правее! – командовал он.

Мотобот шел вдоль камней, торчащих из воды – шхеры утыканы камнями-зубами, – и с каждым тактом движка остров наплывал, наплывал, и Щербинин скреб бороду и материл «фиников», которые чуть было не поймали нас по дешевке.

Полоснуло пулеметным огнем. Кто-то вскрикнул, кто-то захрипел. Мотобот накренился в резком повороте. Я не видел, как на острове, на скале, вдруг поднялась во весь рост человеческая фигура, дала короткую автоматную очередь вверх – и упала. Я не видел это, потому что следил за чертовым проводом, но ребята увидели, и мотобот пошел прямо к тому месту, где поднялся человек. Финский пулеметчик работал близко, он наверняка перебил бы всех нас, если б Щербинин не заорал:

– Прыгай за борт!

Он первым кинулся в воду, за ним посыпались ребята, я тоже прыгнул. Ух-х! Холод продрал ожогом снизу доверху. Я пошел ко дну, но ударился ногой о твердый грунт, тут же всюду гранит, – ударился ногой, оттолкнулся и вынырнул, отплеываясь. Тяжелое снаряжение – винтовка за плечами, коробка с полевым телефоном на ремне, катушка с проводом – снова потянуло на дно, но я уже знал, что тут не глубоко. До берега было метров двадцать, и я поплыл, отчаянно загребая одной рукой и работая ногами. Справа и слева, обгоняя, плыли ребята, задрав винтовки и автоматы. Пулемет громыхал над ухом как кузница. Позади рвануло так, что меня подбросило волной. Заложило уши. Я судорожно глотнул, услышал чей-то оборвавшийся крик, мельком увидел, что второй мотобот будто крутится на месте. Я здорово наглотался воды и выбился из сил.

Но тут уже можно было встать на ноги. Я побрел к берегу, по горло в воде, оскользаясь на неровном грунте. Косо взлетела ракета, в ее зеленоватом свете я увидел, как ребята карабкались на прибрежные скалы и, пригнувшись, перебежали от сосны к сосне. Пока я выбирался на берег и воевал с проводом, запутавшимся в камнях, десант с ходу рванулся вперед. Сквозь лай автоматов и хлопки винтовочных выстрелов я слышал громовой голос Щербинина. Он всегда страшно матерился в атаках, это всем было известно. Финнам – тоже.

Присев под первой сосной, я откинул крышку с телефонной коробки. Аппарат, конечно, был мокрый. Черт, что же делать? Связь с Хорсеном нужно восстановить немедленно, для этого меня и послали. И вот – провод есть, а в аппарате что-то неладно, изоляция, что ли, пробита. Меня трясло от холода, а может, от запоздалого страха. Все-таки это был мой первый десант.

Неподалеку, под соснами, шевельнулась тень. Я упал грудью на катушку, чтоб не скатилась в воду, и сорвал с плеча винтовку. Бой ушел вперед, но черт его знает, может, это заблудившийся «финик».

– Эй, кто там? – услышал я хриплый оклик.

– Свои! – У меня отлегло. Разматывая провод с катушки, я пошел к человеку.

Он сидел, прислонясь к валуну, и непрерывно сплевывал. В синей темноте белело его длинное лицо. Одна нога была вытянута. Рядом – я чуть не задел одного ботинком – лежали, не шевелясь, еще двое.

– Иванова убило, – сказал человек.

– Какого Иванова? – не понял я.

– Ты телефонист, что ли? Алексея Иванова, командира нашего. Он вам сигнализировал, срезали его. Ну-ка, стяни сапог.

Иванова убили! Я не видел его ни разу, но знал об его храбрости и слышал голос, когда он звонил с Молнии на Хорсен.

Принялся стягивать сапог с вытянутой ноги человека. Вдруг человек заорал дурным голосом – я так и замер.

– Не трожь, – прохрипел он, сплевывая. – Шунтиков придет, сам сделает. У нас Стрижа убило. Телефониста. Аппарат вон там, под скалой, – указал он. – Посмотри.

Бой утихал. Еще рвались гранаты и хлопали выстрелы, но явно стихало. Я пошел к скале. Она высилась черной, неровной поверху стеной. Под ногами звенели стреляные гильзы, в ботинках хлюпала вода.

Аппарат стоял под скалой на плоском, как стол, камне, провод от него тянулся в ту сторону, куда ушел бой. Видно, коробку не раз перетаскивали с места на место, когда финны теснили наших, и провод где-то оборвался. Разрывом гранаты, может, перебило. Сам аппарат был цел, питание вроде в порядке. Я быстренько подключил к нему новый провод и закрутил ручку.

– Гром! – закричал в трубку. – Гром, я Молния! Гром, слышите меня?

Телефонист на Хорсене ответил, и сразу я услышал голос командира отряда:

– Ну, что там у вас?

– Товарищ капитан, докладывает Земсков! Связь восстано...

– Об этом я уже догадался, – сердито прервал капитан и потребовал к телефону Иванова.

– Иванов убит, – сказал я.

На том конце провода раздался не то вздох, не то хриплый стон.

– Я тут один, товарищ капитан. Разрешите, я узнаю...

– Щербинина давай, – сказал капитан. – Поживее!

Я положил трубку на аппарат и побежал в глубь острова, и опять под ногами зазвенели стреляные гильзы. Я слышал неясные крики. Длинно-длинно высказался пулемет. Когда он умолк, я услышал зычный голос Щербинина. Он распоряжался, выставляя посты.

– Твои люди, Ушкало, пусть отдыхают, – говорил он; голоса и шаги приближались. – После драки покурить – первое дело.

Группа бойцов шла мне навстречу. В бледном свете лунного серпа, пробившегося сквозь кроны сосен, я увидел пиратскую бороду Щербинина. Двое несли кого-то на трофейной финской шинели.

– Мичман, – сказал я, – быстро на связь. Капитан зовет.

– А! – закричал Щербинин. – Живой? Я уж думал, ты у морского шкипера катушку раскручиваешь.

Он ударил меня по плечу и поспешил к телефону. Заломив мичманку и поставив одну ногу на камень, доложил капитану, что финны выбиты с острова. Один мотобот разбит при высадке. Потери еще не подсчитаны, но убито не меньше пяти человек, а раненых больше, сейчас будем уточнять. Взятые трофеи – ротный миномет и несколько штук автоматов «Суоми», точно пока неизвестно. Потом взял трубку главный старшина Ушкало, помкомвзвода гарнизона Молнии. Из его немногословного доклада я узнал, что в гарнизоне Молнии осталось в живых всего семь бойцов, боезапас кончился, только гранаты еще оставались, а последние патроны они, семерка, решили оставить для себя. Опоздай резервный взвод на час – остров

был бы потерян. Лейтенант Иванов, командир острова, первым увидел наши мотоботы и поднялся из-за укрытия, чтобы просигналить, – и был срезан пулеметом противника.

Потом Ушкало некоторое время слушал, повторяя «есть... есть...», и в заключение сказал в трубку:

– Есть принять командование.

Над притихшими шхерами высоко в небе плыл кораблик новорожденного месяца. Его слабый свет еле процеживался сквозь кроны сосен. Мы курили, пряча в кулаках огоньки самокруток.

– Ты Кольку не видел? – спросил я Темлякова.

– Нет. – Он сидел рядом и возбужденно говорил: —... чуть на голову не свалился с сосны. «Кукушка»! Я – раз! – за камень. Он как даст по мне очередь. Мимо! Только он побежал к берегу, я – раз! раз! Со второго выстрела снял. А другой финик...

– Где Колька? – спросил я. И выкрикнул: – Коля! Шамрай!

Чей-то голос буркнул:

– Нет Шамрая. В мотоботе остался.

– Как это – в мотоботе? – спросил я, неприятно пораженный.

Но голос умолк. Я слышал, как стонал и сплевывал тот, длиннолицый, – кто-то стягивал сапог с его ноги. Смутно забелела накладываемая повязка. Толя Темляков что-то еще говорил – про второго «своего финика», – но я плохо слышал. Где же Колька Шамрай? Я встал и подошел к урезу воды, всмотрелся в тусклую поверхность плеса, в смутный силуэт соседнего острова Эльмхольма. Один мотобот покачивался на воде, длинный фалинь тянулся от его носа к выступу скалы. А второго не видно. Затонул, что ли?

– Земсков! – услышал я высокий голос Игнатьева. – Борька, ты где?

Я откликнулся и пошел к камню, где стоял телефонный аппарат. Тут крякнуло, ухнуло – прямо к нам понесся неровный нарастающий вой. Неподалеку полыхнуло красным, взметнулся взрыв. Туго ударило в уши, толкнуло в грудь, обдало теплой волной. Тук-тук-тук-тук – застучали осколки о камень, о наш гранитный остров. Снова вой. Снова взрыв. Я лежал ничком, прижавшись боком к камню и прикрыв руками голову. Мне было жалко только голову.

Грохнуло, ослепило, ударило за ухом, я почувствовал острую боль. Ну вот... кажется, все... Но звуки разрывов продолжали доходить до меня, горький запах тротила бил в ноздри, и я понял, что пока живой. Я услышал дребезжание зуммера и схватил трубку. Далекий, очень тихий голос капитана спросил:

– Что там у вас?

– Обстрел! – крикнул я, прижимая трубку к уху и не слыша своего голоса, заглушенного новым разрывом. Того, что говорил капитан, я тоже не слышал.

Я оглох. Сколько часов уже... сколько часов лежим под огнем?..

Кто-то потряс меня за плечо:

– Ты живой?

Я приподнял голову и уставился на Игнатьева.

Я был живой, только за ухом болело, только в животе что-то мелко и противно тряслось – наверное, поджилки. А между тем над соснами нарастал, приближаясь, неровный свист. Он ввинчивался в воздух. Сейчас ка-ак шарахнет... Я невольно обхватил голову руками. Бу-бух! Рвануло поблизости. Поблизости, но уже далеко. И снова тяжелое шуршанье летящего снаряда...

Наконец до меня дошло, что обстрел кончился. Теперь ханковская артиллерия била по Стурхольму – большому финскому острову по соседству с нашей Молнией. Ну да, со Стурхольма обстреляли нас – в отместку за то, что мы выбили их десант, – а капитан попросил у ханковской батареи огонька, и та ударила по Стурхольму. Заткнула им глотку.

Я уже не раз бывал под огнем и пытался заставить себя не бояться. Как это в книжках о прежних войнах писали: «С презрительной усмешкой он стоял под ядрами». Что-то в этом роде. Но мне пока что не давалась презрительная усмешка.

Я сел, упершись ладонями в землю. Левая наткнулась на острое, теплое – это был осколок снаряда. Тяжелый, зазубренный, не успевший остыть. Он не дотянул до меня нескольких сантиметров. Я размахнулся было, чтобы швырнуть осколок в воду, но передумал, сунул в карман бушлата.

– Десять минут, – сказал кто-то. – Десять минут садили в нас.

– Вот это был огневой налет! – сказал Сашка. – Вот это налетик. Сатана перкала!

– Чего? – не понял я.

– Сатана перкала. Это финики кричали. Ихнее ругательство. У нас сатана, у них – сатана. За ухом у меня здорово болело. Провел пальцем по шее – палец стал черным от крови.

– Меня ранило, – сказал я, растерянно глядя на палец.

Сашка и Толик стали звать санинструктора, тот подошел, посветил фонариком на мою шею. Потом промыл рану чем-то едким и сказал:

– Сосновой щепкой царапнуло.

Я пошел искать Кольку Шамрая, но не нашел. Потом меня поставили на пост. Так и не спал почти до рассвета. И почти до рассвета работала артиллерия. На Вестервике заговорила тяжелая финская батарея, ей ответил ханковский главный калибр. Снаряды с обеих сторон выли и буравили воздух над нашими головами.

Под утро уцелевший мотобот ушел на Хорсен, увозя убитых и раненых. Вторым рейсом он увез Щербинина с частью взвода. Другая часть резервного взвода осталась на Молнии, в том числе Сашка Игнатьев, Темляков и я. А Кольки Шамрая не было ни среди убитых и раненых, увезенных на Хорсен, ни тут, на Молнии. Нигде его не было...

Надо, наверное, рассказать вам, как я попал на полуостров Ханко, в эти окаянные шхеры. Дело нехитрое: если есть на Балтике гиблая военно-морская база, то уж я на нее попаду.

Шучу, конечно. А вот всерьез.

С вашего позволения, я родился в Ленинграде, вырос тут, паспорт получил. Жили мы на канале Грибоедова в огромной густонаселенной квартире. В двух комнатах жило семейство Шамраев – папа с мамой, Колька и две его сестры, шумный народ. Дальше, возле кухни, занимал комнату критик Анатолий Либердорф, пожилой дядька лет под сорок, с брезгливым тонкогубым ртом. Мы его называли «Лабрадорыч». Еще в двух комнатах жили мы, Земсковы. Отец, Павел Сергеевич, строитель в крупных чинах, больше жил на Кольском полуострове, чем дома. Он строил в Хибиногорске апатитовый комбинат – ну, вы знаете, какая это была большая стройка. Помню, однажды вечером – мне тогда было лет десять-одиннадцать – зазвонил у нас телефон. Я снял трубку: «Алло». Слышу незнакомый голос: «Кто говорит?» – «Я, Боря». – «А, привет, Борис». – «Привет», – говорю. Голос засмеялся и велел позвать отца. А отец только утром приехал с Севера, весь день проторчал на каком-то совещании и теперь спал в маленькой комнате на диване, закрыв лицо газетой. «Папа спит, – сказал я в трубку, – он устал». – «Устал, говоришь? – переспросил голос. – Ну ладно, я через час позвоню». И верно, позвонил. Отец подошел к телефону, я слышал, как он сказал: «Здравствуйте, Сергей Миронович... Да нет, что вы...» Так вот получилось, что я обменялся приветом с Кировым.

Мы должны были всей семьей переезжать в Хибиногорск. Я радовался переезду: в Ленинграде все привычно, а там город в тундре! Ужасно хотелось прокатиться по тундре на оленях. Я выучился без запинки произносить название горы, у которой раскинулся новый город, – Кукисвумчорр. Ребята в моем классе завидовали, что я буду жить возле такой знаменитой горы, а Колька Шамрай подносил мне к носу длинный кукиш и спрашивал: «Ну, скоро сюда заберешься?» Колька был непутевый. Он однажды сбежал из дому, месяца два где-то носило, потом привела его, отощавшего и оборванного, милиция, и папа Шамрай, типографский рабо-

чий, как следует отодрал блудного сыночка. Моя мама пошла на Колькины крики увещевать папу Шамрая, но тот гаркнул, чтоб не лезла не в свое дело.

Мы собирались переезжать, но отец вдруг заболел и слег надолго. Что-то у него было с сердцем. Потом Хибиногорск – его в то время уже переименовали в Кировск – отпал. Отец остался в Питере. В мае 1938-го поздно ночью его поднял с постели телефонный звонок. Не знаю, кто звонил и о чем говорил. Но отцу после этого звонка стало плохо. Мать вызвала «неотложку», послала меня в дежурную аптеку за кислородной подушкой. Отец задыхался. Он судорожно глотал воздух, глаза были широко раскрыты и не мигали. После укола стало легче, он смотрел на маму и на меня и пытался что-то сказать, но язык не повиновался ему. Ранним утром приехал врач, я его знал, он давно уже лечил родителей – толстенный добродушный доктор. Опять я бегал в аптеку с рецептами, на которых стояло латинское «cito». В десятом часу приступ повторился, и отца не стало.

Мама никогда не говорила мне, что это был за ночной звонок. Но я с той поры возненавидел телефон. По иронии судьбы военная служба определила меня в телефонисты...

Должен вам сказать, что я не помышлял о военной службе. Тем более – о военно-морской. А о чем я помышлял? Трудный вопрос. Я был разбросанный. То мне хотелось учиться на врача, то – на геолога. Я завидовал Кольке Шамраю, уехавшему с геологической партией куда-то на Северный Урал. Колька добился-таки своего, больше всего в жизни ему хотелось мотаться по белу свету. Только он приехал с Урала, как определился в экспедицию, выезжавшую на юг, на раскопки скифских курганов. Молодец Колька – победоносный, с шалыми глазами, с розовыми щечками, которых он стыдился.

Не податься ли мне в археологи? Или, может, в географы? Ирка посмеивалась надо мной: вечно все усложняешь, шарахаешься из стороны в сторону, а ведь ты математическая голова, вот и надо идти на мехмат ЛГУ. Сама-то Ирка давно знала, чего ей надо: на следующий день после выпускного вечера она подала документы на филфак университета.

Ох уж это лето тридцать девятого! Вы сами помните (если, конечно, уже жили в то время), какое оно было жаркое, беспокойное. В Монголии, на реке Халхин-Гол, шли бои. Еще весной Германия проглотила Чехословакию и оттяпала у Литвы Мемель (так в то время называли Клайпеду). Из газет мы знали, что накаляется обстановка вокруг Польши: немцы денонсировали польско-германский пакт о ненападении и сильно точили зубы на Данцигский коридор. От отца, наверное, передалась привычка читать газеты, и все эти словечки, которыми они пестрели – «пакт», «денонсировать», «агрессия», «невмешательство», – были мне известны. Мы знали всё. Но, конечно, это только казалось нам, лопушкам. В пионерских лагерях под Сестрорецком мы орали под треск разгорающихся костров: «Эй, комроты, даешь пулеметы, даешь батарею, чтоб было веселее!» Подлинный горький смысл слов, наполнявших газеты и песни, дошел до нас позднее.

Монгольские степи были далеко, с балтийских побережий тянуло холодком, а мы в то жаркое ленинградское лето готовились поступать в институты. Я разрывался от противоречивых желаний. Последние страницы газет зазывали в лесотехнический, в индустриальный, в военные училища – каких только не было объявлений! Мы со школьными друзьями изучали их, спорили. Ирка все талдычила про мехмат, выпаливая сто тысяч слов в минуту и встряхивая белобрысой челочкой. Но я-то знал, что ее представление о моих математических способностях было преувеличенным. Года четыре, ну да, с седьмого класса мы с ней сидели за одной партой, и она «сдувала» у меня задачи по математике, ей математика давалась плохо – вот почему я был в ее представлении «математической головой».

Ну так вот, в результате титанических усилий по выбору вуза, в наибольшей степени отвечающего моим разносторонним способностям, я очутился на историческом факультет ЛГУ. Вам, наверно, покажется смешным такой скачок. Я и сам не знаю, почему вдруг всплыл истфак. Может, потому, что интерес к истории я в себе ощущал всегда, сколько помню. Исторические

романы предпочитал другим – особенно любил книжки Алтаева, Дюма, Фейхтвангера тож. А может, сказалось влияние мамы.

Мама у меня была партийная – не с таким стажем, как отец, вступивший в партию летом семнадцатого года, но все же: с двадцать восьмого. Она читала курс истории партии в пединституте. Но в прошлом году, вскоре после смерти отца, у них на кафедре что-то произошло. Мама возвращалась с работы озабоченная, подолгу, за полночь, что-то писала, потом комкала и рвала написанное. Ее гордая голова с короткой мужской стрижкой странно поникла. Губы, никогда не знавшие помады, сжались в прямую линию с опущенными углами. У нас в семье не было заведено, чтобы я расспрашивал родителей об их работе. Но тут, видя, какая мама мрачная, я спросил однажды вечером:

– У тебя что-нибудь случилось?

Мы сидели за столом в большой комнате и пили чай. Мама, вскинув голову, посмотрела на меня.

– С чего ты взял?

– Мне так кажется, – сказал я, накладывая на хлеб толстую пластину плавленого сыра. Очень я любил этот новомодный сыр.

– Ничего не случилось, – сказала мама резковатым своим голосом. – Просто некоторые люди стали неузнаваемы.

– В каком смысле?

– Ты этого не поймешь.

В детстве я часто слышал эту сакраментальную фразу: «Ты не поймешь». Но теперь мне было семнадцать, я мог понять все.

– У некоторых людей как будто вывихнуты мозги, – сказала мама, глядя в окно, за которым темнел огромный колодец нашего двора, тут и там пробитый желтым размытым светом квартир напротив. – Переиначивают смысл обычных слов... врут без зазрения совести... – Она тряхнула головой и опять взглянула на меня: – Что же ты надумал, Боря? Куда будешь поступать?

– Еще не решил, – сказал я. – Может, на геологический.

– Я бы хотела, сын, чтобы ты пошел на исторический факультет.

– Кому нужна история? Это ж не наука, а так... в таком-то году было то, а в таком-то – это... Без истории можно прожить, а вот геология...

– Без истории жить нельзя, – прервала мама мою безалаберщину. В ее тоне появилась преподавательская назидательность. – Как дерево невозможно без корней, так и человек в обществе немислим вне исторического процесса. Ясное понимание прошлого...

И пошла, и пошла объяснять, почему история есть наука первостепенной важности.

Я слушал вполуха. Но вдруг гаснущее внимание зацепилось за фразу:

– Если человек не уверен в своей памяти, ему не следует отклоняться от истины. Это сказал Монтень...

Я понятия не имел о Монтене, мы его не проходили, но сказано было, честное слово, неплохо.

Мама продолжала:

– Если бы по слабости памяти! Но ведь память у них прекрасная. Нет, они злонамеренно искажают факты, и вот тут-то необходима честная и объективная работа историка, чтобы...

– Постой, мама, – попросил я. – Ты о ком говоришь?

– О ком? Ну, хотя бы о некоторых бывших папиных товарищах... Впрочем, ты не поймешь.

Разговор этот произошел летом прошлого года, и с тех пор мама ни разу больше не напоминала о своем пожелании, чтобы я пошел учиться на истфак. Она теперь заведовала районным парткабинетом – то была работа тихая, незаметная. И мама, как мне казалось, тоже стала

тихой, бесшумной, как тень. У нее появилась привычка раскладывать пасьянс, она просиживала целые вечера за этим странным занятием. В ее черных, по-мужски стриженных волосах густо пошла седина.

Теперь, жарким летом тридцать девятого года, мне вспомнился прошлогодний разговор с мамой. «Без истории жить нельзя...» Ладно, решил я, пусть будет история. Я подал на истфак университета, выдержал экзамены и поступил на первый курс.

Но историком не стал. Видно, не было суждено. Может, оно и к лучшему: ну что за профессия – историк? В таком-то году было то, в таком-то – это...

Вскоре после начала занятий парни с нашего курса начали один за другим уходить в армию. Сами знаете: в том году вышел Закон о всеобщей воинской обязанности. Месяц спустя в нашей группе остались лишь четверо представителей мужского пола: двое дефективных (очкарик и хромоножка), я – по причине несовершеннолетия (мне еще не исполнилось восемнадцати) и Толя Темляков.

Толя приехал к нам в Питер из Харькова. Когда я его спросил: «Разве в Харькове нет университета?» – он ответил серьезно: «Есть, конечно, но в Ленинграде дело лучше поставлено». Вот чудик! Как будто он профессор и знает, где как поставлено дело. Он был ростом невысок, с большой головой, половину которой занимал подвижной лоб. Ну и лбина – как у Сократа! У него были светло-голубые глаза, белобрысый аккуратный зачес набок и бородавка на краю левой ноздри. Поступил он, как отличник, без экзаменов, и мы, неотличники, невзлюбили его. Но потом, когда ближе сошлись, я понял что Т. Т. (то есть Толя Темляков) – парень что надо. У меня интерес к истории был, как бы сказать, книжного свойства, и уже к концу первого семестра я изрядно к ней охладел. Древняя Греция – еще туда-сюда, а вот первобытнообщинный строй, путаная история Египта... что-то мне разонравилось. Дурака я сваял, надо было, конечно, идти на геологический. Но теперь-то не стоило затеваться с переводом: все равно через год возьмут в армию. Я не усердствовал на семинарах, не корпел над конспектами. Лыжи! Вот к чему лежала душа! Не столько головой, сколько ногами я работал в ту зиму. Гонял на лыжах в Парголове, в Озерках. А зима, между прочим, стояла суровая. На Карельском перешейке наши войска, утопая в глубоких снегах, долбили линию Маннергейма. Были переполнены ранеными ленинградские госпитали. По ночам затемненный город источал ледяную стужу...

А вот Т. Т. к истории относился серьезно. Я к нему не раз заходил в общежитие на Добролюбова – и всегда заставал за толстыми премудрыми томами. Он сочинения писал, на семинарах был самый активный. У профессора Равдоникаса, читавшего историю первобытнообщинного строя, стал, можно сказать, любимцем. Мы бегали на старшие курсы слушать лекции Тарле, и Т. Т. писал знаменитому профессору записки с толковыми вопросами. Нет, он был, верно вам говорю, парень что надо. Мы стали друзьями.

В нашей коммуналке, в темноватом и тесноватом от старой рухляди коридоре, висела на крюке большая лохань, в которой мама Шамрай купала, по мере их рождения, всех своих Шамрайчиков: старшую – Владлену, среднего – Кольку и младшую – Светку. Изредка тяжелая лохань срывалась с крюка, всегда ночью, производя звон и грохот и будя спящих. Однажды я привел Т. Т. к себе домой, мы вошли в коридор, и тут лохань вдруг сорвалась и загремела нам под ноги – такого в дневное время еще никогда не случалось. Из квартиры Шамраев выскочила вертлявая Светка, выпучила глазищи, закричала, дурачась: «Бум-бум-бум!» Лабрадорыч выглянул из своей комнаты и раздраженно сказал: «Сумасшедший дом».

Маме понравился Т. Т. Она сказала, когда Т. Т. ушел: «Серьезный мальчик». В этих словах был скрытый укор: дескать, не то что ты, легкомысленное создание...

Т. Т. был призывного возраста, но военкомат почему-то его не тревожил. «Тебя, наверно, держат в резерве, как кавалерию», – сказал я ему. «Почему – как кавалерию?» – устремил Т. Т. на меня голубоглазый взгляд. Я объяснил: в фильмах всегда под конец, в критический

момент, из-за пригорка высыпала конница, она мчалась лавой, с шашками наголо, а в кинозале поднимался одобрительный шум: мальчишки кричали, свистели, топали ногами. «Глупое сравнение», – сказал Т. Т.

Так или иначе, той осенью его не призвали в армию. Мы, трое «убогих» (очкарик, хромоножка и я, несовершеннолетний), при полной поддержке девичьего хора избрали Толю группкомсоргом. И не ошиблись: Т. Т. рьяно исполнял обязанности. Он неутомимо таскал нас в культпоходы – в Русский музей и Эрмитаж, в пригородные дворцы. К слову, он неплохо знал искусство. Однажды весной сорокового, когда растаяли снега военной зимы, Т. Т. предложил мне и Кольке Шамраю (который ожидал в те дни призыва) съездить в Ораниенбаум, чтобы там, в Китайском дворце, осмотреть плафон венецианского художника Тьеполо «Отдых Марса»...

Впрочем, об этой поездке, имевшей последствия для всех нас, надо рассказать особо. Не сейчас. Сейчас мне нужно поскорее вернуться на полуостров Ханко.

В сентябре сорокового почти одновременно мы с Т. Т. получили повестки из военкомата. Нам предложили пойти учиться в артиллерийское училище, но мы отказались, так как не собирались идти в армию на всю жизнь. Мы с Т. Т. просились в одну часть, желательно – в зенитную. Но нас с большой группой призывников повезли на одышливом пароходике в Кронштадт, и это означало, что мы угодили во флот. Ни Т. Т., ни я о флоте не помышляли, потому что во флоте служба была слишком долгой: пять лет. Трубить пять лет вместо двух, полагающихся в армейских частях! Как говорят в Одессе, две большие разницы, верно? Мы не хотели во флот. Но нас не очень-то спрашивали.

Горластый главный старшина, в чье распоряжение мы поступили, объявил нам, что пять лет служат на кораблях, в береговых частях – четыре. Тут я подумал, что если уж идти на флот, то на корабли. Какого черта? Но на военной службе все зависит от того, как решит начальство. А начальство решило определить нас в связисты и отправило в школу связи имени Попова.

Ну ладно. После бани нам выдали морское обмундирование. Это само по себе было интересно: ты стоишь в чем мать родила, а чины вещевого снабжения кидают в тебя тельняшку, кальсоны, ботинки, брюки, фланелевку и прочее, а ты только поспевай ловить, сгребай в охапку и топай, сверкая вымытым задом, в угол предбанника, одевайся, – отныне ты не какой-то недоучившийся историк, а краснофлотец Земсков. Распаренные, неуклюжие, во всем новеньком, в черных шапках и шинелях мы высыпали на улицу, в ранний тусклый кронштадтский вечер. Главстаршина велел становиться в колонну по четыре и повел: мы вразнобой бухали ботинками по булыжнику. Вдруг раздался грозный рык:

– Эт-то что за партизаны?! Кто ведет строй?

Главстаршина, умученный за день, встрепнулся, подскочил к сухощавому командиру с четырьмя золотыми нашивками на рукавах шинели – к капитану второго ранга, вышедшему из-за угла нам навстречу. Шевеля усами, кавторанг принялся свирепо отчитывать нашего главного за разболтанный строй, главный, вытянувшись, повторял: «Есть... есть...» Усы у кавторанга были крупные, горьковские, но, в отличие от Алексея Максимовича, он явно не был гуманистом. Главный, само собой, отыгрался на нас, безропотных. Заставил чеканить шаг, потребовал песню. Какая там песня? Поскорее бы добраться до нар. Кто-то безрадостно затянул: «По долинам и па-а взгорьям...» Жидкий хор подхватил. «Громче!» – крикнул главный. Песня не шла, спотыкалась. «Кру-гом!» – скомандовал наш мучитель. Теперь, когда строй затопал в противоположную от теплой казармы сторону, песня пошла хорошо. Ух, как мы орали песню!

Полгода нас обучали в школе связи – мы прошли курс строевой подготовки, выучились на телефонистов. Вообще-то я предпочел бы стать радистом – в школьные годы мы с дружкой, Павликом Катковским, увлекались радио, мастерили детекторный приемник. Но выбора не было, мы заделались телефонистами. Мы усердно драили гальюны, перечистили горы картошки на камбузе, стали вертками, поджарыми и ушлыми. В апреле сорок первого нашу

команду, молодое пополнение, погрузили на пароход «Магнитогорск», чей трюм был устлан слежавшимся сеном, и повезли на Ханко.

Вы знаете, наверное, где он находится. А если не знаете, то возьмите карту Балтийского моря и всмотритесь в юго-западную оконечность Финляндии – там, на стыке Финского и Ботнического заливов, увидите полуостров, будто обсыпанный крупной мелкими островков. Это и есть Ханко – тот самый Гангут, у берегов которого в 1714 году петровский флот разгромил шведскую эскадру. Знаменитое местечко.

Вы, может быть, помните или знаете из курса истории XX века, что после зимней войны, в марте 1940 года, Советский Союз получил у Финляндии полуостров Ханко в длительную аренду. На картах того времени он обведен красным пунктиром.

Так вот, на этом полуострове, нависшем гранитной пятой над входом в Финский залив, и началась история, о которой я хочу вам рассказать. Тут меня застигла война.

Слово «застигла», пожалуй, не вполне уместно. В нем содержится понятие внезапности, а нас, ханковский гарнизон, война не застигла врасплох. С самого начала аренды полуостров усиленно укреплялся. У прибрежных скал, на лесных полянах, на шхерных островках устанавливались батареи. Строилась железнодорожная ветка для транспортеров с тяжелыми орудиями – главным калибром Гангута. Повсюду – в казармах, на стройплощадках, в кирхах, переоборудованных в клубы, – атели плакаты: «Превратим полуостров Ханко в неприступный советский Гибралтар!» Такую базу, как наш Гангут, просто не полагалось застигать врасплох.

К этому добавлю, что уже за несколько дней до начала войны ощущалось что-то такое – будто воздух вдруг наполнился тревожным предчувствием грозы. Тревога разливалась не только в воздухе. По красноватым грунтовым дорогам, убегавшим в сосновый лес (гранит, поросший лесом, – вот наш Гангут) шли грузовики со снарядами ящиками – на батареях пополнялись боевые комплекты. А накануне войны, вечером 21 июня, по всей базе (как и по всем флотам) приказом наркома ВМФ была объявлена готовность номер один. Война, как видите, не застигла военно-морскую базу Ханко врасплох. И тем не менее она обрушилась на наши души со всей мощью внезапности.

Вы понимаете, конечно, что я имею в виду: пакт с Германией. Теперь-то он принадлежит истории, но тогда, в начале сороковых, этот пакт круто повернул ход нашей жизни. Нет, он, конечно, ничуть не сделал для нас привлекательнее гитлеровщину. Но, что ж тут скрывать, породил иллюзии. Дескать, отвел от нас войну, она громыхает в Европе, где-то в Атлантике, а мы под прикрытием пакта отсидимся в затишке, наблюдая, как до крови грызутся империалистические хищники. Ужасно не хотелось войны! Вот почему я сказал бы так: мы были готовы к ней – и в то же время не готовы. Она не застигла нас врасплох – но и обрушилась внезапно. Может ли так быть – да и нет одновременно? Вот вопрос...

...Нигде его не было, и я понял, что Колька Шамрай убит при подходе десанта к острову. Либо лежит где-то в воде, на гранитном грунте, либо упал в мотоботе. Кто-то ведь ночью сказал, когда я окликал Шамрая: «В мотоботе остался».

На рассвете, когда дымящийся туман пополз вверх, медленно рассеиваясь в холодном воздухе, Сашка Игнатьев первым увидел мотобот. Его снесло течением на восток, к безымянному островку, черной скале, выглядывавшей из воды, как тюленья голова. «Тюлень» – так мы называли эту ничейную скалу. Она торчала примерно на равном расстоянии от нашей Молнии и от финского Стурхольма.

Мотобот, наверное, сильно порешетило осколками, и он, уносимый течением, погружался все больше и затонул бы, если бы его не прибило к «Тюленю». Он сел на мель и был обращен к нам кормой, возвышавшейся еле заметно над водой. Смутный штришок на воде – я бы и не разглядел его, если б Сашка не показал. Сашка был сигнальщиком, он умел смотреть.

– Там Колька Шамрай, – сказал я.

– С чего ты взял? – спросил Т. Т.

Мы лежали среди скал, возвышавшихся над небольшим песчаным пляжиком, и смотрели на мотобот у «Тюленя». Нас в не высохших еще бушлатах, обдувал утренний ветер, пахнущий гарью. Было знобко, бесприютно.

– Нигде его нет, – сказал я. – Он там...

Затрещал телефон. Я кинулся к аппарату, но главстаршина Ушкало, сидевший под высокой скалой, опередил меня.

– Молния слушает, – расклеил он твердые губы.

С Хорсена передали утреннюю сводку. Ушкало выслушал с каменным лицом. Его загорелые скулы выпирали из ввалившихся щек.

– Понятно, – сказал он. И, обернувшись к нам, коротко передал содержание сводки. В течение ночи на фронтах ничего существенного не произошло. Немецкие самолеты тремя группами пытались прорваться к Ленинграду, но отогнаны. Сбито три самолета противника...

– К Питеру рвутся, – сказал Андрей Безверхов. У него была заячья губа, придававшая мальчишескому лицу удивленное выражение. Бушлат на Андрее был застегнут до горла, а на голову, под бескозырку, он натянул шерстяной подшлемник. Видно, никак не отогреется Безверхов после вчерашнего заплыва.

– Андрей, – сказал Ушкало, – примешь первое отделение.

– Есть, – ответил Безверхов. – К Шатохину на пулемет надо кого-то вторым номером.

– Поставь меня, – сказал Сашка Игнатьев.

– А ты пулемет знаешь?

– Разберусь.

– А второе отделение, – сказал Ушкало и огляделся, выискивая кого-то, – второе примет Литвак. Где Литвак?

– Здесь я, – приподнялся невысокий боец, лежавший у прибрежных камней. У него были желтые немигающие глаза. Рыжеватая короткая бородка обрамляла худые щеки и острый подбородок, мыском подымалась к нижней губе. Обмундирование на нем было армейское.

– Примешь второе отделение, Ефим, – сказал Ушкало.

Он принялся разбивать свой гарнизон – всего-то было нас восемнадцать штыков – на два отделения. Сашка попал к Безверхову, Т. Т. – к Литваку, меня Ушкало оставил при себе телефонистом и связным.

Я сидел на сером мшистом камне, вросшем в землю, и, шевеля пальцами в непросохших тяжелых ботинках, дожидался завтрака. Наш завхоз, он же санинструктор, Ваня Шунтиков хлопотал, делил сухари и трофейные финские галеты на количество ртов.

Ничего существенного за ночь не произошло, думал я. Вот только отбили у противника этот островок в шхерах, но о таких пустяках в сводках не сообщают. А Колька Шамрай не дожид до рассвета. Лежит в полузатонувшем мотоботе, в холодной воде, у ничейной скалы. Невозможно было представить Кольку мертвым.

Я не знал, что он тут, на Ханко. Он ведь раньше меня был призван, попал на флот, но родителям писал скупое, и те не знали толком, где проходит Колькина служба, – только номер полевой почты был им известен. Когда я в конце июля прибыл с пополнением в десантный отряд, на Хорсен, меня сразу посадили на телефон в штабе отряда. Ранним утром заверещал вызов, я взял трубку и услышал: «Капитана давай». Я говорю: «Капитан отдыхает, недавно лег», – «Ну, начальника штаба». Голос знакомый, но вспомнить не могу. «Начштаба тоже отдыхает, – говорю, – вы скажите, что надо, а я доложу». – «Доложи, что Шамрай вернулся из разведки. На Порсэ спокойно, фиников нет. Понял?» – «Колька, – говорю, улыбаясь в черную пасть трубки, – это ты?» Он отвечает: «Для кого Колька, а для кого Николай Владимирович. А ты что, новый телефонист? Как фамилия?» – «Земсков я. Борис Земсков». – «Ну-у? – удивился он. – Борька? Ты как сюда попал?»

Мы встретились под тремя соснами у входа в капонир, где жил Колька. Он был обвешан оружием: трофейный автомат «Суоми» на груди, наган на ремне, карманы бушлата набиты гранатами-лимонками. Бескозырка лихо заломлена. Но он был такой же розовощекий. И я узнал, что Колька служил на БТК – бригаде торпедных катеров, заделался киномехаником и крутил фильмы в клубе бригады – в кирхе на гранитной скале, куда и мы хаживали, а когда объявили о формировании десантного отряда, он пошел в числе первых добровольцев. Старший краснофлотец Шамрай участвовал в десанте на Гунхольм, брал Эльмхольм. Теперь он командовал одним из отделений резервного взвода, а сегодня ночью ходил в разведку на Порсэ, это к западу отсюда, обшарил весь остров, никого там нет, а позавчера оттуда «кукушка» постреливала. «Ты доложил капитану?» – «Доложил, доложил», – отвечал я, радуясь нашей встрече. Колька сказал, что от родителей было недавно письмо, а вот Марина, как началась война, не пишет.

«Колька, – сказал я, – твое поручение я выполнил. Помнишь, ты мне пятерку дал, чтоб я Марине отвез шоколадку...» – «Да знаю, – сказал он. – Марина мне написала, что ты приезжал, насмешил ее». – «Чем это я насмешил?» – «Ладно, не надуйся, – усмехнулся Колька. – А больше ты ее не видел?» Больше я в Ораниенбаум не ездил и Марину не видел. По правде, хотелось повидать еще, но – она ведь была не моей девушкой. Нет, не видел я ее с того дня, второго мая сорокового года. А осенью меня призвали. «Только Темляков, – сказал я, – тоже здесь. Помнишь его?» – «Как же не помнить головастика, – хохотнул Коля. – Здорово, что мы все собрались тут. Ну ладно, увидимся еще». Согнувшись, он нырнул в капонир, откуда несло подгоревшей кашей.

Мог я себе представить, что жить Кольке оставалось две недели?

Я встал и подошел к Ушкало. Он полулежал, привалясь к большой скале, ногу согнув углом.

– Главный, – сказал я, – мотобот не затонул, его вон к той скале унесло.

Ушкало приподнял тяжелые красные веки.

– Знаю.

– Там Шамрай лежит убитый.

– Не только Шамрай. Там и моторист остался. Скосырев Семен. – Ушкало сдвинул мичманку и потер ладонью лоб. – Ну? Дальше что?

– Как – что? – сказал я. – Надо их похоронить.

– Твоя как фамилия? – нахмурился Ушкало. – Земсков? Вот и занимайся своим делом, Земсков. Своим делом занимайся. Понятно?

Дескать, не лезь в командирские дела. Командование само знает, что нужно делать каждую секунду. А ты отвались. Но я стоял столбом перед главстаршиной и видел, что он сейчас гаркнет на меня, и внутренне весь сжался. Я боюсь начальственного гнева. Вдруг сидевший неподалеку Литвак, в мятой пилотке, надвинутой на рыжую бровь, вмешался в наш разговор:

– А я што гавару? Я и гавару, надо идти за мотоботом.

– На чем пойдешь? – покосился на него Ушкало.

– На шлюпке.

– Не смеши кобылу! – отрезал Ушкало. – Так они тебе и позволят, финики. Так и позволят! Шунтиков, – окликнул он санинструктора, – чего тянешь? Сосчитать до восемнадцати не можешь?

Мы позавтракали всухомятку – сухарями и консервами. Горький дымок стелился над скалами, над тлеющим после ночного обстрела мхом. Я смотрел на островки к югу от Молнии – они будто висели в воздухе, отрезанные от воды полоской тумана. Вон Хорсен. Там уютная штабная землянка с телефонами. Там можно ходить по острову в полный рост, не опасаясь, что тебя срежут пулеметной или автоматной очередью. А тут, на Молнии, можно только ползком. Только за этой скалой можно встать, выпрямиться.

Нам на двоих с Т. Т. выдали банку мясных консервов, волокнистых и пресных, и мы ее быстро умяли, уступая друг другу последний скребок ложкой по жестяной стенке.

– Неправильно это, – тихо сказал Т. Т., сворачивая самокрутку.

– Что неправильно? – я тоже закурил.

– Обоих отделенных из своих назначил. А мы что? Один отделенный должен быть из наших, вновь прибывших, – убежденно сказал он. – Нас одиннадцать человек, а их, старичков, только семь.

– Не все ли равно?

– Нет. Не все равно. – Т. Т. еще понизил голос: – Этот Литвак – какой из него командир отделения?

– Да ты ж его не знаешь.

– Видно по нему. Видно, что он малограмотный.

Может, он был прав. Но мне было действительно все равно. Я представил себе, как в нашу квартиру на канале Грибоедова приходит мое письмо, адресованное Шамраям, и мама Шамрай разворачивает его и читает...

Нет. Не мог я представить. Не доходило до меня, что Кольки Шамрая больше нет.

Дня два или три было на Молнии сравнительно спокойно. Ожидалось, что финны снова полезут отбирать остров, но они не лезли. Постреливали только. Глушили нас огневыми налетами, но они были короткими, потому что сразу вступали ханковские батареи и начиналась дуэль, снаряды шуршали и выли над нашими головами.

В то лето закаты были долгие, томительные. В небе будто пылал пожар, зажженный войной. Меж сосен сочился красный свет, каждая чешуйка на их стволах становилась медной, и отсвет небесного пожара ложился на валуны и скалы, обкатанные древними ледниками.

Солнце давно уже скрывалось за горизонтом, а в небе все еще менялись краски, перемещались полосы, возникали странные видения. Мне чудились корабли викингов. Они медленно наплывали, оцетинившись длинными копьями, потом медленно растворялись, но копья оставались и долго еще горели – багровые рубцы на темном полотнище неба.

Слишком долгими были закаты. Мы нетерпеливо ждали темноты. Днем на нашем острове можно было только лежать. Финны, которых отделял от нас узенький пролив, зорко следили за нами и посылали пулю на каждый шорох, на колыхание ветки, на звук голоса. Относительно безопасно было только за большой скалой, круто обрывающейся к южному берегу. Тут находился наш КП.

Ночью мы обедали. Мы питались консервами и сухарями, но на третью ночь с Хорсена пришла шлюпка с двумя большими термосами, в одном был борщ, в другом – пшенка, заправленная мясными консервами. Горячий борщ! Ух, как мы его хлебали!

Кроме того, Шунтиков каждому наливал в колпачок от фляги спирту. Я не сразу научился пить. Перехватывало дыхание. Шунтиков советовал при глотке не дышать через нос. Может, его советы помогли, а может, просто привычка взяла свое, но я понемногу научился, придерживая дыхание, выпивать спирт мощным глотком. Сразу по телу разливалось тепло, и можно было опять лежать на холодном граните, вглядываясь в темноту, прислушиваясь к плеску волн и невнятным разговорам ветра с соснами.

Мы ждали приказа идти вперед – брать Стурхольм. Это ж было каждому бойцу-десантнику ясно как дважды два: очередь за Стурхольмом. Но приказа все не было. И на гиблом нашем острове, где шагу не ступишь, чтоб не звякнула под ногой стреляная гильза, стал образовываться быт. Ну, бытом, положим, наше бездомье не назовешь, но все же: у каждого из восемнадцати появилось любимое место для сна – расселина, или щель меж двух валунов, или ямка среди сосновых корней, вгрызшихся мучительным усилием в гранит. Меня не переставала удивлять цепкость и неприхотливость здешних сосен. Постепенно нам переправили с Хорсена вещмешки с нашими пожитками – мыльницами, бритвами и другими мелочами быта,

без которых и на войне не проживешь. Появилась даже затрепанная книжка – «Зверобой» Фенимора Купера. У нее не хватало первых страниц, и начиналась она так: «– Я не траппер, Непоседа, – ответил юноша гордо. – Я добываю себе на жизнь карабином и владею им так, что не уступлю в этом ни одному мужчине моих лет между Гудзоном и рекой святого Лаврентия. Я никогда не продавал ни одной шкуры, в голове которой не было бы еще одной дыры, кроме созданных самой природой для зрения и дыхания». Хоть и благороден был товарищ Зверобой, а – хвастун. Зверя бил, видите ли, непременно выстрелом в голову.

Но это было потом – горячая пища, родная мыльница, «Зверобой». А в первые два-три дня я не находил себе места. Вдруг пришло в голову, что если мы не пойдем к «Тюленю» за мотоботом, то его уведут финны. После ночного обеда я сказал Литваку:

– Ты с главным больше не говорил? Ну, насчет мотобота.

– Дык ён сам знае. – Литвак мельком прошелся по мне взглядом. – Надо яшче спытать, – сказал он, почесывая под заросшим подбородком.

– Спытай, – повторил я понятное белорусское словцо. – Если мы не пойдем, то финны...

Он не дослушал, пошел проверять посты.

Ночь была прохладная, я мерз в своем бушлате, никак не мог уснуть. Я слышал плеск воды под веслами, тихие голоса на берегу у скал – это пришла шлюпка с Хорсена. Это Ушкало пришел – его прошлой ночью вызвал капитан в штаб отряда, и вот он вернулся.

Утром, когда мы завтракали сухарями, консервами и туманом, главстаршина Ушкало разжал твердые уста и сказал Литваку:

– Капитан дал добро на вылазку. Пойдешь сегодня ночью.

– От здоровья! – Литвак улыбнулся, морща нос: его улыбка мне показалась хищной, не вяжущейся с обычно простодушным видом. – Шлюпка будзе?

– Будет тебе шлюпка. С кем пойдешь?

– С кем? – Литвак быстрыми желтыми глазами обвел нас, сидящих под большой скалой и занятых едой. – Вось, с Кузиным. Пойдешь со мной за мотоботом? – обратился Литвак к рослому молчаливому парню в армейской форме, в ватнике, прожженном на правом боку. Тот кивнул. – Добра!

– Вдвоем не управитесь, – сказал Ушкало, – третьего надо.

– Разрешите мне пойти, – сказал я.

Ушкало, Безверхов и Литвак уставились на меня: мол, это еще кто голос подает?

– Я умею грести, – добавил я упавшим голосом.

– А яшче што ты умеешь? – насмешливо прищурил глаз Литвак.

Я отвернулся, чтоб они не видели моей вспыхнувшей физиономии.

– Ты, Земсков, сиди на телефоне, – услышал я глуховатый ушкаловский бас. – На телефоне сиди. Твое дело связь.

– Еремина, што ль, взять? – сказал Литвак. – Андрей, дашь мне хлопчыка?

– Лейтенант бы Ерему не отпустил, – сказал Безверхов. – Он Ерему жалел.

– Не гавары глупства! Жалел не жалел – што за размова? Война ж!

– Ладно. Только учти, Ефим: головой за Ерему отвечаешь.

Ночью пришла шлюпка с Хорсена – доставила термосы с горячим обедом и анкерок с водой. Кроме того, прислали восемнадцать касок – по числу наших голов – со строгим приказом капитана носить не снимая.

Мы быстро разгрузили шлюпку. Потом в нее уселись трое: молчаливый Кузин в прожженном ватнике и Еремин, маленький улыбчивый краснофлотец, – на весла, Литвак – за руль. Весла бесшумно вспахали черную воду, и шлюпка ушла в ночь. Мы молча следили за ней, пока она не растворилась в темноте.

Литвак не сумел пробиться к мотоботу. Со Стурхольма взвилась ракета, финны увидели шлюпку на полпути к «Тюленю». И ночь взорвалась. Шлюпка вихляла среди всплесков огня.

С Молнии оба наших пулемета били по мигающему пламени на черном берегу Стурхольма. Потом там рывкнул миномет, выплевывая в залив мину за миной, и Литваку пришлось повернуть обратно.

Шлюпка ткнулась носом в песок. Литвак и Еремин, тяжело дыша, вынесли на берег Кузина. Кузин хрипел, его жилистые руки молотобойца бессильно висели. Ваня Шунтиков как умел перебинтовал ему простреленную грудь. Я оцепенело смотрел, как сквозь бинт проступило расплывающееся черное пятно.

Т. Т. тихо проговорил у меня над ухом:

– Убили человека. А все из-за этого... желтоглазого...

Шлюпка ушла на Хорсен, увозя Кузина.

А наутро...

Когда нас, молодое пополнение, привезли на Ханко, мы попали на участок СНИС – Службы наблюдения и связи. Это береговая часть с наблюдательными постами, разбросанными по всему полуострову, с радиоцентром и телефонной станцией, – повторяю, береговая часть, но служба тут исчислялась по-корабельному, то есть пять лет, а не четыре. Мне это не нравилось. Я думал: уж если трубить все пять, то на кораблях. Мне плавать хотелось. Вместо морских походов я получил, в качестве новоявленного электрика-связиста, рытье траншей для телефонных кабелей.

Участок СНИСа находился в Ганге – курортном городке на оконечности полуострова – на проспекте Борисова. Этот коротенький широкий проспект, обсаженный липами, начинался у железнодорожного вокзала. Здесь стоял мрачный темно-красный дом, самый высокий в Ганге, в целых три этажа, – штаб базы. За ним простирался порт – причалы, краны, пакгаузы и просторная вода, серая с ртутным отливом. Рядом со штабом стоял белый одноэтажный домик, весь окруженный живой изгородью из сирени, – тут находилась наша телефонная станция. В конце мая сирень расцвела и наполнила все вокруг одуряющим благоуханием, совершенно неприличным для серьезной военно-морской базы. А напротив, на другой стороне проспекта, в двухэтажном доме помещалась наша казарма.

Дальше проспект вел к небольшой площади перед бывшей ратушей, которую теперь занимал Дом Флота. На площади цветочная клумба украшала братскую могилу, в которой были захоронены знаменитый летчик-истребитель Герой Советского Союза Борисов, погибший в конце зимней войны, и еще четверо – экипаж нашего бомбардировщика, сбитого тогда же над Ханко.

Проспект выводил к морю, к песчаному пляжу с пестрыми кабинками, и тут стоял обелиск из серого гранита с барельефом – фигурой солдата в островерхой каске. Под барельефом было высечено: «Tyska trupper» и другие неизвестные слова. Позднее я узнал, что «Tyska trupper» означает по-шведски «немецкие войска» и что обелиск возведен в честь германского экспедиционного корпуса генерала фон дер Гольца, высадившегося здесь в 1918 году, чтобы помочь финским властям задуть революцию. (В первый день войны этот памятник был сброшен с постамента.)

Симпатичный городок! Его главными достопримечательностями были шоколадного цвета, с белым, кирха на огромной гранитной скале и красно-кирпичная водонапорная башня – два объекта, издавна видные с моря. В кирхе теперь размещался клуб бригады торпедных катеров. Между прочим, бывая в этом клубе, я мог бы встретить Кольку Шамрая, но я и понятия не имел, что он служит на БТК. С тех пор как год назад Кольку призвали, ничего я о нем не знал, кроме того, что он попал на флот. Но мир, как известно, тесен, и флотская служба свела нас на Ханко, а точнее, как вы уже знаете, на острове Хорсен.

Служба в СНИСе шла, в общем-то, нормально. По утрам мы выбегали на физзарядку и мчались наперегонки по проспекту Борисова к морю – там и умывались, веселясь и обдавая друг друга холодной водой. После завтрака начиналась нескончаемая возня с телефонными

кабелями. Дело в том, что финны, передавая нам Ханко, не обозначили на карте подземные кабели, и теперь мы их искали, пользуясь косвенными данными, – кое-где находили, а в иных местах зазря копошились в земле. Задача у нас была – упрятать под землю все телефонные кабели, но к началу войны мы не успели это сделать – оставалось еще много «паутины», то есть полевых кабелей, натянутых на столбы.

А Толя Темляков сидел на коммутаторе – обеспечивал штабу связь. Он хорошо себя проявил, был вскоре назначен помощником политгрупповода, и поговаривали, что его сделают командиром отделения. Он наголо постригся, чтобы волосы лучше росли, бескозырка еле помещалась на его здоровенной лбине. Молодец Т. Т.! Он свел дружбу с коком и иногда получал на камбузе добавки. А я однажды сунулся к коку за добавкой, но получил суровый отказ. Почти как Оливер Твист – только что без порки обошлось.

В июне начались сплошные учения – то флотские, то базовые. Стояли прекрасные белые ночи. Городок наполнялся призрачным голубоватым светом. А мы шастали с винтовками, с противогАЗами... совершали марш-броски... выполняли вводные о «повреждениях»...

В субботу 21-го кончилось базовое учение, и мы пошли в Дом Флота посмотреть новую картину «Антон Иванович сердится». Из казармы вышли рано, мы с Т. Т. решили прогуляться и пошли по городку, по крутым улочкам, вдоль которых стояли на высоких каменных фундаментах аккуратные деревянные домики, выкрашенные в красный, голубой, светло-зеленый и прочие цвета. Особенно хороши были виллы на улице вдоль пляжа. Одна из них, говорили, принадлежала прежде самому Маннергейму.

Нас нагнали Сашка Игнатьев и еще двое парней из старослужащих. Сашку, долговязого сигнальщика с рейдового поста, мы с Т. Т. не любили. Уж больно он был насмешлив. Его водянистые глаза так и шныряли, отыскивая в людях смешное. Нижнюю толстую губу он выпячивал, как кобыла. Про меня Сашка сочинил похабное двустиие. Он про всех сочинял, про себя тоже, и ребята с хохоту покатывались, но кое-кто и обижался. Т. Т., например, не переносил Сашкины шуточки. Родом Игнатьев был из Муром. До службы он работал в клубе, заведовал, по его словам, каким-то отделом, но поговаривали, что он был просто рассыльным.

Он как нагнал нас, так и начал подначивать Т. Т., запел своим бабьим голосом, нажимая на «о»:

– Гололобая башка, дай кусочек пирожка!

– Умнее ничего не придумал? – сказал Т. Т.

Мы шли мимо вилл финских богачей, среди елок и сосен и выбирали себе для потехи те, что казались получше. Само словечко «вилла» нас очень веселило.

Вышли к морю. Оно было серое, беспокойное и будто закиданное камнями: тут и там торчали черные мокрые скалы. Горизонт был странно близок, там на островке виднелась башня маяка. И казалось почему-то, что дальше ничего нет – пустота, край света.

Т. Т. шел с ребятами впереди, а мы с Сашкой приотстали. Я смотрел на вечереющее море. Над ним плыли бурые рваные тучи, засты невисокое солнце. Ужасно хотелось домой, в Ленинград. Он был где-то там, на востоке, за островками и скалами. Всплыли в памяти стихи, я пробормотал себе под нос:

– «И дальний берег за кормой, омытый морем, тает, тает...»

И страшно удивился, когда Игнатьев вдруг подхватил с силой:

– «Там шпага, брошенная мной, в дорожных травах истлевет!»

Мы вместе прочли, прокричали следующие строки:

– «А с берега несется звон, и песня дальняя понятна: “Вернись обратно, Виттингтон, о Виттингтон, вернись обратно!”»

Изумленно посмотрели друг на друга.

– Откуда ты это знаешь? – спросил Сашка.

Ну вот еще – откуда... Отец любил молодую поэзию, у него была приличная библиотека – Маяковский, Тихонов, Багрицкий, Уткин, Голодный, Светлов, – ну и мне нравились их стихи. Особенно романтические. У нас в классе были начитанные ребята и девчонки, мы часто спорили – о Маяковском, Есенине, о «Трагедийной ночи» Безыменского, об «Улялаевщине» Сельвинского. Чего ж тут объяснять... это была часть нашей жизни...

– А ты? – спросил я.

Вместо ответа Сашка начал читать. Его голос налился упругой силой, лицо утратило насмешливое выражение, правым кулаком он отбивал такт. Надо же, уйму стихов он знал на память. И не только Багрицкого.

Вдруг он умолк.

– Пойдем, – сказал, окая. – Скоро начало. – И добавил: – Это у меня не часто бывает.

Мы пришли в Дом Флота и успели перед кино выпить по бутылке лимонада. Начался «Антон Иванович». Увидев на экране ленинградские улицы, мосты и каналы, я, признаться, расчувствовался. Я толкал Игнатьева в бок:

– Смотри: Ростральные колонны! А это Республиканский мост! Вон по нему трамвай идет, четверка... Сейчас свернет на Университетскую набережную... теперь на Съездовскую... на Средний проспект...

Сашка громким шепотом принялся сочинять: «По Среднему проспекту гуляет наш Борис...» Вторая строка была, конечно, похабной. Ребята, слышавшие это, засмеялись. Хорошо, что было темно и никто не видел, как я залился краской.

Ночью нас подняли по боевой тревоге. Зевая, чертыхаясь, мы высыпали на улицу, наполненную влажным туманом. Тишина была первозданная. Телефонная станция, где собралось наше подразделение, задыхалась в густом аромате сирени. (Так и осталось это у меня на всю жизнь – начало войны словно оваяно сиреневым духом.) Мы думали: опять учение. Вот же заладили, только кончится одно, так сразу, без передышки, следующее. Только старшина, начальник телефонной станции, сказал вдруг:

– А может, война?

– С кем? – усомнился Т. Т. – С Финляндией? Ну, не полезут они, это исключено. С Германией? Не может быть. Во-первых, пакт. Во-вторых, сообщение ТАСС. Ясно сказано: провокационные слухи.

Нас погнали оповещать командиров. По пустым улицам городка затопали матросские башмаки. Забарабанили кулаки в двери. Белая ночь вбирала в себя, вытягивала комсостав военно-морской базы Ханко из уютных разноцветных домиков, из теплых постелей, из женских объятий.

Связисты раньше всех узнают новости. Часов в пять примчался на станцию помощник дежурного по СНИСу с бланком только что полученной из Таллина, из штаба флота, радиogramмы. Крикнул нам на бегу:

– Война! – И скороговоркой, потрясая бланком: – Комфлотом оповещает: «Германия начала нападение на наши базы и порты. Силой оружия отражать противника...»

Но первые несколько дней у нас было тихо. Мы еще не знали, вступила ли Финляндия в войну. По слухам, в Турку, финском порту по соседству с нами, к северо-западу от Ханко, давно уже шла выгрузка немецких войск и военной техники, – значит, Финляндия в союзе с Германией. Говорили, что финны разобрали железнодорожный путь за приграничной станцией Лаппвик. От наших снисовских наблюдателей мы знали, что вокруг Ханко, на островах шхерного района, наткано полно финских батарей.

Ранним утром 25 июня откуда-то с севера донесся протяжный гул. И сразу ударили пушки. Минут тридцать или сорок били гангутские батареи (как мы узнали позднее – по наблюдательным вышкам противника). Какое-то время спустя на Ганге обрушился артогонь. Финские снаряды рвались в порту, на улицах городка, на железнодорожном переезде.

С того дня почти не умолкала канонада. Днем и ночью финны вели огонь по всему полуострову – на Ханко не было ни вершка земли, недоступной для артиллерии противника. Горел лес (а лето стояло сухое, жаркое). Задыхаясь в дыму, бойцы сухопутных частей окапывали участки пожаров, не давая огню распространиться на весь лес, покрывавший полуостров. Городок Ганге окутался черным дымом пожаров. Горели уютные деревянные дома, горели виллы. Гигантский огненный бич хлестал по Гангуту.

Ханковские артдивизионы вступили в контрбатареиную борьбу. Ханко зарывался в землю. Мы копали землянки, таскали бревна, укладывали в три наката. Нам часто говорили, что надо быть готовыми к войне, но мы не знали, что война – это очень много тяжелой работы.

Нам, снисовским связистам, не раз доводилось работать под огнем: где-то перебивало осколками полевой кабель – ну, тут, будь любезен, выползай из укрытия, лезь на столб с чертовой «паутиной», прозванивай, паяй, восстанавливай связь. Дождаться конца обстрела – во-первых, не дождешься, а во-вторых, штаб не может без связи. Давай связь, и все тут! А между прочим, довольно неприятно висеть на столбе при обстреле. Страшно.

А дальше было вот как. Финны пытались прорваться на полуостров через узкий перешеек сухопутной границы – их отбили бойцы 8-й стрелковой бригады. Пытались высадить десанты на некоторые наши острова – их сбросили в море. Но на островных флангах Ханко вскоре завязался сложный узелок.

Слишком уж близко, в шхерной тесноте, располагался противник от наших позиций, от наших батарей. Стоило зенитчикам на острове Меден открыть огонь по самолетам, как на батарею сыпались мины с соседнего острова Хорсен, занятого финнами. Очень уязвим был этот, северо-западный, фланг. Надо было брать Хорсен и окружавшие его островки.

Десантный отряд, сформированный из добровольцев, начал операции в шхерах в ночь на 10 июля штурмом Хорсена. Заняв этот скалистый остров с реденьким, выгоревшим от артогня лесом, десантники с ходу устремились на соседние островки – Старкерн и Кугхольм. В течение июля были взяты еще несколько островов тут, на северо-западе, и на восточном фланге, где действовал второй десантный отряд. Гангут наступал! В начале августа число отбитых у противника островов достигло почти двух десятков.

СНиС тоже выделил добровольцев. Мы с Толей Темляковым вызвались сразу. Мне, по правде, надоела возня с телефонными кабелями, хотелось переменить обстановку – настоящего дела хотелось. Т. Т., само собой, тоже рвался в бой. И Сашка Игнатьев рвался. С пополнением мы прибыли на Хорсен, где находился штаб десантного отряда, а потом, как я уже рассказывал, мы высадились на Молнию – маленький островок к северу от Хорсена.

...Наутро Ушкало сказал:

– Вот что, Земсков. Я тут без тебя управлюсь с телефоном. Пойдешь к Безверхову в отделение.

– Есть, – сказал я.

Около полуночи Андрей Безверхов отвел меня на пост. Тут берег Молнии изгибался каменистым мысочком, вытянутым сторону Стурхольма. Мысочек полого уходил в воду, прибой у его оконечности лениво ворочал гальку.

– Располагайся за этим валуном, – вполголоса сказал Безверхов и лег рядом со мной. С полминуты мы прислушивались к шорохам ночи. – Особо не высывайся, понял? Будешь вести наблюдение за плесом и за «Хвостом».

– Ясно, – сказал я.

– Галету хочешь? – Он протянул мне трофейную галету. – И смотри, чтоб сна на посту не было. За сон – под трибунал.

Я промолчал, но предупреждение показалось мне обидным.

– Ты ленинградец, кажется? – спросил Безверхов. – А я с Бологого. Земляки. Ты в СНИСах служил?

– Да.

– А я с бэ-тэ-ка. Мы с Васей Ушкало на бэ-тэ-ка служили. Тут много наших ребят. За «Тюленем» особо наблюдай. Если финики к нему сунутся или к нам сюда пойдут – дай три выстрела. Понял? Ну, все. – Он еще немного послушал ночь. – Что из Питера пишут?

– Да ничего особенного, – сказал я.

– Гитлер, гад, здорово жмет. Вчера Василий ходил на Хорсен, слышал там, что за Таллин идут бои. Значит, смотри внимательно. В четыре ноль-ноль тебя сменят.

Он уполз, я остался один на один с глухой финской ночью. Я грыз твердую, как антрацит, галету и смотрел на черную зубчатую стену «Хвоста». «Хвостом» мы называли южную оконечность Стурхольма, которая была прямо перед нами, отделенная проливом метров в шестьдесят. Она (я однажды видел на карте) и впрямь походила на выгнутый кошачий хвост.

Тесно тут, в шхерах. Странно было при мысли, что на «Хвосте», совсем рядом, притаились враги. Люди в чужой форме из чужого мира. У меня не было ненависти к финнам. Я спортом сильно интересовался, особенно лыжами, и знал наперечет рекорды финских лыжников. Ну и, конечно, читал о знаменитых бегунах-стайерах Пааво Нурми и Колехмайнене. Утонувшая в лесах и озерах тихая страна светловолосых спортсменов – такой мне рисовалась Финляндия.

Но я знал и другое. Зимой 1939/40 года в Питере много говорили о линии Маннергейма, на которой легли тысячи наших бойцов. О финских минометах, о «кукушках», стрелявших с деревьев, о зверской жестокости шюцкоровцев. Это тоже была Финляндия. Тихая Суоми... Сколько автоматов «Суоми» нацелено на меня с того берега?

Что-то очень тихо сегодня. Притаились они. И мы затаились. Я знал: левее меня, метрах в сорока, лежит и наблюдает Т. Т. А справа – пулеметная точка. Сашку Игнатьева посадили вторым номером к пулемету. Первый номер – Ленка Шатохин. Это тот белокрысы, который был ранен в ногу и без конца сплевывал. Он наотрез отказался уйти с другими ранеными на Хорсен. К его нижней губе всегда был приклеен окурочок самокрутки. Он его отлеплял только за едой.

Я посмотрел на «Тюленя». Его лысая макушка отсюда была видна лучше, чем из-за большой скалы, и казалась ближе. В морозе ночи не был виден мотобот. Но я знал, что он там, на месте, и те двое лежали в нем, как в ледяной ванне. Я представил себе, что и я мог бы лежать вот так, как Колька Шамрай...

Рядом кто-то хрипло откашлялся. Я вздрогнул, придвинул к плечу приклад винтовки, ощутив щекой его прохладу. Нигде ни малейшего движения. Послышался треск, и сырой низкий голос произнес:

– Внимание! Русские матросы!

Я вгляделся в черный силуэт «Хвоста». Это оттуда неслась усиленная микрофоном русская речь. Довольно чистая, только гласные немного растянуты.

«Германские войска заняли Таллин. В ближайшие дни германские и финские войска войдут в Ленинград. Большевики проиграли войну...»

Жутко было слушать это. Как будто сама ночь заговорила по-человечьи.

«Ваше положение безнадежно...»

Вдруг в мрачный голос ночи вклинился озорной, высокий:

– Эй, брехун! Хватит врать безбожно!

Сашка Игнатьев! У меня немного отлегло от сердца.

«...Не слушайте ваших комиссаров, прекращайте бесполезное сопротивление! У вас один выход остался...»

– Опять ты с головы до ног...! – гаркнул Игнатьев на весь архипелаг.

Я засмеялся. И услышал смех справа, и слева, и позади.

Радиоголос умолк, прокашлялся, а затем с яростью произнес:

«Мы уничтожим вас всех до одного! Никто не уйдет отсюда живым. Пока не поздно, бросайте оружие, покидайте ваши окопы...»

Тотчас обрадованно закричал Сашка:

– Такому оратору...!

Чертов рифмач! Я трясся от смеха и протирал глаза тыльной стороной ладони, чтобы выступившие слезы не мешали наблюдать за «Хвостом». Слева и справа гоготали ребята. «Ох-хо-хо-о», – стонал кто-то, «гы-гы-ы», – давился другой. Наш островок надсаживался. Надрылась от смеха ночь. Покатывался с хохоту Финский залив.

«Хвост», не договорив до конца, угрюмо молчал. Потом сразу в нескольких местах замигало желтое пламя. С железным усердием застучал пулемет, засвистели пули. Я слышал, как они цвикали о камень, глухо ударяли в сосны. Я прижался к своему валуну. Заработал наш пулемет. Разноцветные трассы очередей перехлестнулись над узеньким проливом. Знакомо ухнул ротный миномет, справа от меня метнулось пламя взрыва. Стая визжащих ведьм накинулась на наш остров.

Но вот и на «Хвосте» стали рваться снаряды, и всплески огня выхватывали из тьмы сосны и валуны. Это ударила хорсенская пушечка, сорокапятка. Финны перенесли огонь на Хорсен, и дальше все пошло своим чередом. На полуострове заговорила басом тяжелая батарея, в черном небе над нашими головами зашелестело, засвистело, мощными и протяжными грохотами наполнилась ночь.

Тихая Суоми, подумал я и, достав из кармана бушлата недоеденную галету, отгрыз кусочек.

Стало холодно. Я ворочался на своем гранитном ложе, поджимал ноги, шевелил пальцами в ботинках. На левой ноге носок у меня был рваный, вся пятка наружу. Ленивая скотина, ругал я себя, сто раз уже мог починить носок, ведь дырка неделю назад была совсем маленькая. Неделю назад, когда была теплая землянка на Хорсене. Так нет, тянул, тянул, а дыра росла, росла... Вот и мерзни теперь как собака...

Не только холод мучил. Очень хотелось спать, глаза закрывались сами собой. Я тер и таращил глаза. Вдруг вспомнился дед, отец матери, который вечно жаловался на бессонницу. Я думал: вот бы его сюда. Дед знавал окопы первой мировой. Что бы он сказал, увидев сейчас меня, лежащим за валуном? «Э-э, – сказал бы он, – не умеешь окапываться, солдатик». А как окопаешься на этом каменном острове?

От деда мысль перескочила к дому – нашему старому четырехэтажному дому, чье желтое отражение навсегда впечаталось в грязно-зеленую воду канала Грибоедова. Я увидел длинный полутемный коридор, заставленный шкафами и сундуками, и огромную Шамраеву лохань, висящую на крюке, и кухню с подслеповатой лампочкой, с плитой и столиком, накрытыми выцветшей клеенкой, с черными тараканами, ползавшими по вечерам. Из наших комнат на кухню нужно было тащиться с километр. Наши окна выходили во двор. А на той стороне двора, напротив нас, жил кларнетист. Каждое утро он, стоя у окна в подтяжках, играл свои упражнения, чаще всего одну надоедливую мелодию: ту, ту-ту-ру-ру, ту-ру-ру-ру, та-та-та-ри-ра... Я показывал ему язык, корчил рожи, а он, глядя на меня, невозмутимо выдувал из черной трубки кларнета все тот же мотивчик. Лысый черт. Но однажды Ирка достала билеты в Мариинку, мы пошли смотреть «Лебединое озеро». Мне все нравилось – и танцы, и музыка, и богатая постановка. Здорово! Но вдруг я так и подскочил в кресле: из мощного потока музыки тоненькой струйкой вылилась знакомая мелодийка. Та самая: ту, ту-ту-ру-ру-ру... Конечно я знал, что Чайковский великий композитор, но просто не мог понять, как это он умудрился вставить в хорошую музыку скверный мотивчик. А может, подумал я, Чайковский тут ни при чем и лысый кларнетист порет отсебятину?

Ирка была, можно сказать, своим парнем. Сколько лет мы с ней сидели за одной партой. Сколько задач она у меня «сдула». И поэтому, признаюсь уж вам, непривычно и трудно мне

было думать об Ирке как о своей девушке. Новый, 1940 год мы, хоть и окончили прошлым летом школу, решили встретить всем классом, и это была веселая встреча, а потом Ирка потребовала, чтоб я ее проводил домой, и возле ее подъезда в безлюдном и промозглом Демидовом переулке мы пылко поцеловались. Правда, я после этого не считал себя обязанным («как честный человек») «ходить» с ней и все такое. Но иногда мы все же встречались, Ирка бывала у меня дома, и мама тоже относилась к ней как к своему человеку. Ну, что говорить! А накануне моего ухода в армию в наших отношениях все разом переменялось... Ирка сказала, что будет меня ждать... Ужасно я скучал по ней. Но в письмах об этом не распространялся. Письма мои были, как говорится, лапидарные. А Ирка писала длинные письма, описывала лекции и профессоров, жаловалась на ужасные трудности с французским произношением, пересказывала ленинградские сплетни. В конце писем непременно было несколько нежных слов. После начала войны пришло от нее только одно письмо – Ирка писала, что их отправляют на рытье противотанковых рвов. Больше писем пока не было. Я понимал, что с почтой возникли сложности: она шла на Ханко через Таллин, а теперь, когда в Таллине бои... неужели Таллин сдали?..

Над плесом ползли белесые ключья тумана. Не стало видно «Тюленя», заволокло его. А «Хвост» словно отъехал назад. Черт, какая холодная ночь. А ведь еще август. Что же будет, когда осень начнется...

Я вздрогнул, случайно посмотрев вправо и увидев в двух шагах бледное лицо с немигающими желтыми глазами.

– Спыш, салага? – свистящим шепотом сказал Литвак.

– Ничего не сплю. – Я с трудом шевелил замерзшими губами.

– А што ж прижмурыу свае вочы?

– Ничего не прижмурил. – Я разозлился. – Вочы! Чего ты подкрадываешься, как привидение?

– А если фыник?

– За финиками я слежу. И вообще я не в твоём отделении. Ползи себе дальше!

– Цише ты! – прошептал Литвак, подползая ко мне вплотную. Здорово он полз, совсем бесшумно. – Як тебе зваць?

– Ну, Борис.

– А ты не саврау, Борис, што умэеш гясти?

– Чего мне врать? – Я чувствовал тепло его плеча. На Литваке был поверх гимнастерки стеганный ватник. Наверно, в ватнике теплее, чем в подбитом ветром бушлате. – Да умею, – сказал я. Мог бы добавить, что принимал участие в межшкольных соревнованиях по гребле, но промолчал: еще подумает этот Литвак, что хвастаю. – Ты пойдешь еще к «Тюленю»? – спросил я.

– Ты ж бачу, мы не магли прайти.

– Ну, еще раз, – сказал я. – Надо ж похоронить людей.

Литвак молчал, вглядываясь в затуманенный финский берег.

– Возьми меня, когда снова пойдешь.

Он опять промолчал, а потом сказал:

– Ну, глядзи бдительна.

И отправился дальше проверять посты. Я посмотрел на его уползающие сапоги с тускло блеснувшими подковками. Конечно, в сапогах тут можно жить. В сапоги накрути хоть по одеялу. А морская форма – не для полевой жизни. Мне было холодно. И хотелось плакать оттого, что я больше никогда не увижу Кольку Шамрая.

Колька Шамрай был свист. Трудно бывало понять, когда он начинал о чем-нибудь рассказывать, говорит ли правду или свистит. Фантазии у него было навалом, и врал он вдохновенно, сам верил в то, что сочинял. Однажды он рассказывал о футбольном матче, на который я не смог попасть, а он попал. По его словам, Федотов ударил по воротам, потом прыгнул

и поправил мяч головой – так был забит решающий гол. Я усомнился: не может быть, чтоб дотянулся головой после удара ногой. «Свистишь», – сказал я. Колька кричал: «Я сам видел! Поправил мяч головой – прямо в ворота! Сволочь буду, сам видел!»

Он был всего на год с небольшим старше меня, но в тысячу раз самостоятельнее. Читали мы одни и те же книжки, приключенщину, конечно, – Бэрроуза, Зуева-Ордынца, Луи Жаколио, все эти затрепанные выпуски, захватанные номера «Вокруг света» и «Всемирного следопыта» с чудными рисунками Кочергина и Фитингофа. Больше всего нам хотелось, подобно Артуру Гордону Пиму, спрятаться в трюме корабля, среди бочек с солониной, и тайком уйти в океан. Мы проникали в торговый порт и шныряли по причалам, высматривая подходящие пароходы. Ни черта из этой затеи не вышло: бдительные вахтенные у трапов отгоняли нас. Да и бочек с солониной, конечно, теперь не было.

Дважды он сбегал из дому. Первый раз, я говорил уже, его вскорости поймали, и папа Шамрай задал ему хорошую трепку. А второй раз Кольке удалось сбежать надолго: вдруг он оказался в геологической партии на Северном Урале. Ему было неполных шестнадцать, но выглядел он года на два старше – длинный, плечистый, с шалыми глазами. Его и взяли коллектором. Два сезона подряд он ездил в экспедиции. Дома смирились с его нежеланием кончать десятилетку, папа Шамрай махнул рукой. У Кольки переломился голос, руки огрубели, появилась такая победоносная походка. Вот только борода и усы не хотели расти, щеки сохраняли детскую округлость и розовость, – Колька очень сердился, грозил кулаком своему отражению в зеркале. Но против природы не попрешь.

После второй экспедиции Колька возвратился в дождливый осенний день. Он вызвал меня в коридор и громким шепотом сообщил, что стал мужчиной. В их партии была молодая повариха, она все улыбалась ему, Кольке, заманивала, а он стеснялся, ну дурачок же неопытный. Но как-то ранним туманным утром (было это на берегу не то Сосьвы, не то Лозьвы) встал он по нужде – и видит: из спального мешка начальника партии торчат две головы. Инженерша-петрограф ночью, видно, заблудилась и попала к начальнику в мешок, понял? Ха! И очень на него, Кольку, подействовали эти две головы в одном спальном мешке. Следующим же вечером он подступился к поварихе, а она, пухленькая, ха-ха да хи-хи, ха-ха да хи-хи... а потом – ныр к нему, Кольке, в спальник мешок. Понял?!

Колька победно блестел зелеными глазищами, похохатывал. А у меня внезапно пересохло в горле. «Свистишь», – пробормотал я. «Чего, чего! – закричал Колька. – Чистая правда! Сволочь буду!»

Похоже, он не свистел. У него и в Питере появилась девчонка, он меня с ней познакомил, в кино мы втроем ходили, а потом он сел с ней в трамвай четвертый номер и уехал, и дома в ту ночь не ночевал. В своей шамрайской семье он стал как отрезанный ломоть. Старшая сестра Владлена, зануда страшная, на Кольку шипела, чего-то даже грозилась, но ему было наплевать. Следующим летом он уехал на юг – на раскопки скифских курганов. Меня здорово тянуло к скифским курганам – там, в ковыльных степях, посвистывали стрелы, слышался топот полудиких коней, и мало ли что еще слышалось моему воображению, но я тем летом кончил школу, сдавал выпускные экзамены. И мучился: какой институт выбрать? И ужасно завидовал Кольке.

Он вернулся с раскопок черный от скифского загара. Его каштановые кудри лихо завивались и золотились на кончиках. Весело, победоносно смотрели зеленые глаза. Он был, как сейчас сказали бы, красавец!

Как раз пришла ему повестка из военкомата, но той осенью его не забрали, велели ждать до весны.

В апреле это было, в воскресенье. Мы поехали в Ораниенбаум, Толя Темляков давно уже тащил меня в тамошний Китайский дворец, ему надо было посмотреть плафон Тьеполо «Отдых Марса», чтобы написать реферат для искусствоведческого кружка. Т. Т. был непре-

менным участником всех кружков и семинаров. Я о Тьеполо слыхом не слыхал, но уступил натиску моего головастого друга. И Кольку Шамрая с собой прихватил: Кольке было все равно куда ехать – хоть бы к Тьеполо, – лишь бы не сидеть дома.

Часа в три пополудни мы приехали на электричке в Ораниенбаум и немного побродили по его неказистым улицам. Обшарпанные стены вдруг раздались, открыв гавань, и наши взглядам предстал Кронштадт. Он был близко, по ту сторону пролива, – слитная масса желто-серых домов. Над ними высился Морской собор, синевато-серый в тени, слегка позолоченный солнцем. Впервые я видел Кронштадт так близко.

Китайский дворец оказался маленьким, одноэтажным, оранжевым, как мандарин. Мы зашаркали матерчатыми туфлями по сверкающим паркетам большой анфилады. Группа из нескольких человек слушала экскурсовода, и мы тихонечко в эту группку вклинились. Экскурсовод была небольшого росточка. Мощная грива черных, с бронзовым отливом волос ниспала на покатые плечи. А лицо было узкое, белое, с прямым, как по линейке, носом и губами, как у греческих богинь. Я засмотрелся на эти губы, не слишком вникая в смысл произносимых ими слов. Что-то о Екатерине Второй она говорила, повелевшей строить тут «Собственную дачу», об архитекторе-итальянце Антонио Ринальди... о позднем барокко... Как вкусно выговаривали ее губы эти звучные слова! А голос – что-то было в нем такое... будто тайну вам доверяет...

Мельком я взглянул на Шамрая – он тоже не спускал с девушки глаз. Он улыбался ей нахальной, как мне подумалось, улыбкой, – мне страшно захотелось, чтоб она не обратила на Кольку внимания. Девушка направилась в следующую залу и следом зашаркала группа. Паркет был не простой – инкрустированный. Он блестел, хорошо натертый, и как бы приглашал разбежаться и прокатиться в мягких музейных туфлях. Но, само собой, пришлось подавить это желание и чинно стоять и слушать.

А маленькая богиня задрала голову кверху и взмахнула рукой на плафон, писанный в XVIII веке венецианским живописцем Джованни Баттиста Тьеполо. А, вот он, «Отдых Марса»! Ну что ж, недурно писал этот Баттиста. Марс сидел в середке, поигрывал мускулами, как культурист, а вокруг – мать честна, кого только не было вокруг! Девки, слегка прикрытые развевающимися голубыми, розовыми, желтыми тканями, кружились многоцветным хороводом. Неплохо отдыхал Марс, вон какая довольная рожа, снял пернатый шлем, меч отставил в сторонку – пируй среди девок, милое дело!

Т. Т. затеял с экскурсоводом ученый разговор: можно ли Тьеполо считать реалистом? Девушка отвечала ровным голосом: условность... классицизм... монументально-декоративная живопись... Но Т. Т. это не удовлетворяло, он упрямо допытывался: реалист или не реалист? Экскурсанты из нашей группки начали тихо расходиться, поплыли в следующие залы, – только мы остались. Колька вдруг вмешался в разговор:

– Тебе же ясно сказано: это не реализм, а кла... классицизм. Видно же. Девушка правильно говорит. А ты растахтелся.

– Не лезь, если не понимаешь, – сердито сказал Т. Т.

– Кто не понимает? – Колька надменно поднял черные брови. – Да тут и понимать нечего. Если одетые – значит, реализм. Раздетые – классицизм.

Экскурсовод засмеялась. Это было здорово! Строгое лицо богини враз исчезло, осталось просто смеющееся лицо молоденькой девушки. А смешливая какая! Так и заливалась.

Она повела нас дальше – в стеклярусный кабинет, в малый китайский, большой китайский. Колька вникал в ее объяснения, поддакивал с таким видом, словно ничто его так не занимало в жизни, как стеклярус. Марина – так звали экскурсовода, – видя такое внимание, обращалась главным образом к нему. А Т. Т. недовольно моргал. Ему было больно, что Тьеполо оказался нереалистом.

Когда Марина спросила, были ли мы в павильоне Кательной горки, мне (ленинградец!) стало стыдно перед Т. Т., что я впервые слышу про эту горку. Мы оделись, Марина оказалась в пушистой белой шапочке и мохнатой шубке из непонятного меха, может, от черного пуделя, и мы, выйдя из дворца, пошли длинной аллеей. Меж голых деревьев тут и там белели полосы ноздреватого снега. Солнце притуманилось, было прохладно и ветрено – ну, как всегда в апреле. И пахло дождем.

Кательная горка, объясняла Марина, обращаясь главным образом к Кольке, была деревянная. По врезанным колесам катила – вверх-вниз, вверх-вниз – восьмиколесная тележка. Вот здесь были горки, обнесенные колоннадой. От них ничего не осталось. Сохранился только павильон в стиле рококо.

«Рококо, рококо...» – вертелось у меня в голове, когда мы поднимались по лестнице павильона. Рококо, рококо, убежало молоко... Мне живется нелегко...

– А это, – сказала Марина, остановившись перед беломраморной двухфигурной скульптурой, – очень хорошая копия Бернини.

А что хорошего? Парень догнал девушку, уже схватил, а она прямо на глазах превращается в дерево: руки становятся ветками, ноги – корнями. Ах вот оно что: нимфа Дафна, которую преследует бог Аполлон, хочет сохранить целомудрие и обращается лавровым деревом. Отсюда, оказывается, пошла любовь Аполлона к лавру, – победители на состязаниях поэтов венчались лавровыми венками. Моя мама тоже любила лавровый лист, клала его в кастрюлю, когда варила суп, – но это из другой оперы. Факт тот, что с нимфами надо повежливее, без грубостей. Я высказал эту замечательную глубокую мысль вслух. Марина взглянула на меня и промолвила:

– Ты совершенно прав.

Когда мы вышли из павильона, Колька словно невзначай взял Марину под руку и спросил, давно ли она работает во дворце. Она решительно высвободила руку и сказала, что не работает во дворце. Во дворце многие годы, с того дня, когда его превратили в музей, работала ее мама. Она, Марина, собственно, и выросла в этом парке, все тут с детства ей прекрасно знакомо. Но минувшей зимой мама стала болеть, и она, Марина, заменяет ее – дирекция разрешила ей водить экскурсии. А сама она еще школьница, в этом году кончает десятилетку.

Мы проводили ее до дворца, там уже собралась новая группа, и Марина повела ее по анфиладам.

– Вот это девчонка! – сказал Колька, закуривая папиросу «Север», мы сели на скамейку возле Лаокоона и его сыновей, опутанных змеями. – До чего красивая девчонка!

Т. Т. вынул из кармана «Ленправду» и погрузился в чтение.

– Ого, – сказал он, – английский десант в Норвегии.

На днях было напечатано сообщение, что шесть германских дивизий начали высадку в Осло и других портовых городах Норвегии. Слабенькие норвежские дивизии серьезного сопротивления не оказали. И вот теперь...

– «Англичане высадились в Харстаде, Намсусе и в районе Ондальсна, – одолевал Т. Т. трудные норвежские названия. – Завязались серьезные бои за Нарвик...»

– Я таких красивых еще не встречал, – сказал Колька, поглощенный своими впечатлениями. – А умная какая!

– Как Вера Менчик, – сказал я. – Ну что? Тьеполо посмотрели, нимфу посмотрели, поехали домой.

– А чего дома делать? – возразил Колька. Он сидел, раскинув руки по спинке скамьи, будто обнимая нас с Т. Т., и дымил папиросой. – Давайте Марину подождем. Видали, какие глаза у нее? Синие с морозом.

– Сизые, а не синие, – поправил я. – А жалко норвежцев. Хороший народ.

Вышла из дворца Марина. На сегодня у нее экскурсии закончены. Тучи заволокли небо серым лохматым одеялом, и уже накрапывало, когда мы отправились провожать Марину до дому. По дороге заглянули на станцию, чтоб взять билеты на электричку, и тут оказалось, что поездов не будет до 23 часов: что-то случилось на дороге, где-то между Старым Петергофом и Ораниенбаумом шел ремонт. Вот так так! Как же мы домой доберемся? Не пешком же топать. Впору было чесать затылки. Марина посмотрела на наши озадаченные физиономии и приснула. Вот же смехачка! Глаза у нее, и верно, были синие, с уклоном в серебряное.

– Чего тебе смешно? – сердито сказал Т. Т. – Ничего смешного. Торчи теперь до полуночи.

– У вас лица смешные, – сказала Марина. – А вообще-то ты прав, ничего смешного. Я тут живу, – остановилась она у подъезда розоватого двухэтажного дома. – До свиданья.

– погоди, – сказал Колька. – Нельзя же бросать нас на произвол судьбы.

– А что я могу сделать? – Марина с интересом посмотрела на него. – Ускорить ремонт дороги?

– Ну, хоть где-то приютить нас до ночи. Вон, уже дождь. Мы же промокнем.

– Где я вас приютю... приучу... – Она опять хихикнула. – Знаете что? – вдруг осенило ее. – Вы же историки, да? Студенческие билеты у вас при себе?

– Конечно, – сказал Колька, у которого отродясь не было студенческого билета.

– Я попрошу открыть для вас дом Петра Третьего. Если директор разрешит, то сможете там отсидеться.

Она вернулась вместе с нами в парк: мы прошли в дирекцию и, представьте себе, очень скоро получили разрешение переночевать в летнем доме Петра Третьего. По-моему, на директора произвел хорошее впечатление Т. Т. с его лбом мыслителя и гладкой речью. Ну и, конечно, наши студенческие билеты показывали, что мы не проходимцы. Словом, Марине удалось убедить директора. Он выдал ей ключ от домика, с условием, что утром она лично повесит его на место.

– Меня мама ждет, – озабоченно сказала Марина, ведя нас через парк к летнему дому, а дождь, между прочим, шел все сильнее, шурша в голых ветках, в желтой прошлогодней траве. – Вечно на мою голову что-нибудь свалится.

Летний дом стоял на отшибе, выглядел он неважно, – наверное, как малозначительный объект не подлежал реставрации. Ключ со скрежетом провернулся, и мы вошли в XVIII век. Воздух тут был застоявшийся – возможно, тот самый, которым дышал Петр Третий. Марина велела занести ей ключ, когда мы пойдем на станцию, а если мы останемся ночевать...

– Мы останемся, – сказал Колька, решив проблему за всех.

– Тогда утром, в полвосьмого, я забегу за ключом, – сказала Марина. – Ну, историки, располагайтесь. Спокойной ночи.

И мы стали располагаться. В комнатах было много лепнины под потолками, но никакой мебели, если не считать широченной железной кровати без матраца, без сетки – с несколькими железными перекладинами. Может, на ней когда-то спал сам Петр. В другой комнате был огромный камин, а перед ним несколько поленьев, как видно заваливавшихся с тех же времен. На полу громоздилась гора старых подшивок. Я наклонился посмотреть – не «Санкт-Петербургские» ли «ведомости»? Нет, газеты были современные, за несколько последних лет.

– Тут не топили с восемнадцатого века, – поежился я.

– А вот мы сейчас затопим, – сказал Колька, шуруя поленьем в черной пасти камина. – Тащи сюда подшивки!

Газеты лениво загорелись, мы подложили дровишек, но дым повалил из камина в комнату – отвратительно кислый и смрадный. Пришлось срочно вытаскивать поленья и несгоревшие газеты из камина. Может, заслонка закрыта? Но мы не нашли заслонки. Черт его знает, как топили камины в XVIII веке. Скорее всего, дымоход был давным-давно неисправен. С пре-

великим трудом мы открыли одно из окон, ржавые шпингалеты не хотели поворачиваться, – дыму в комнате стало меньше, кислый дух остался, никакое проветривание не брало его, и мы, напустив холодного воздуха, закрыли окно. Т. Т. заявил, что мы тут схватим воспаление легких, надо идти на станцию и там дожидаться электрички. Но Колька воспротивился позорному бегству (так он выразился). Он знает прекрасный способ согреться: водочки надо хватануть.

– А ну, выворачивайте карманы, – распорядился он.

Мы наскребли бумажек и монет как раз на бутылку водки и хлеб, не считая тех, что сразу оставили на проездные билеты. Затем Колька послал меня в магазин.

Мои друзья были в матерчатых пальтецах, а я носил отцовскую кожанку – сильно потертую, но крепкую. Кому, как не мне, было идти под дождь.

Я побежал к проволоочной ограде парка, нашел в ней дыру, пролез – и сразу съехал в жидкой глине на дно канавы. Чертыхаясь, выбрался, кое-как обтер пудовые ботинки травой. В продовольственный магазин я примчался как раз перед закрытием. Слава богу, водка была. А хлеба не было. Денег хватало либо на триста граммов дешевой рыжей колбасы, либо на четыре плавленых сырка. Раздумывал недолго: взял сырки, натянул поглубже кепку и побежал под припустившим холодным дождем обратно.

В царских покоях шел разговор о книжке Лиона Фейхтвангера «Москва, 1937 год», Т. Т. с похвалой отзывался о зоркости и честности автора. Колька книгу еще не прочел, но, конечно, слышал о ней и с интересом расспрашивал, но тут я выставил водку и закуску, и мы принялись согреваться. Сидя на подшивках, по очереди прикладывались к бутылке и старались поменьше морщиться от омерзительного водочного духа. Нам хотелось выглядеть бывалыми. Но бывалым среди нас был один Колька Шамрай.

– Зря ты этих сырков накупил, – сказал он. – Это ж не еда, а мыло.

– Ничего не мыло, – заступился я за любимые сырки. – Очень даже они вкусные.

– Туалетное мыло гостреста «ТЭЖЭ». – Колька отхлебнул из бутылки. – А тебя, Боречка, всегда будут за водкой посылать.

– Почему это? – воззрился я на него.

– Так. У тебя на роже написано: пошлите меня за водкой.

– Вот еще! – обиделся я. – А у тебя что на роже написано?

– У меня написано: ребята, мне интересно жить.

– С женщинами, – вставил Т. Т.

– Во! – засмеялся Колька. – В точку попал, Толик. Эх, братцы! Не знаете вы, щеночки, что за сладость женщина!

– Расхвастался, – сказал Т. Т., тоже отхлебнув и набивая рот сырком. – Почему это мы не знаем?

– Потому что не знаете. Только в книжках читали, а сами не испытали.

– Герой нашелся! Дон Жуан с канала Грибоедова.

Мне не нравился этот разговор. Не знаю почему.

– Ну, вот скажи, – привязался Колька к Т. Т., – у тебя с ними что было? Ну, в парадном обжимался, да? Раз два целовался, так?

– А вот и не два, – возразил Т. Т. Его, видно, уже разобрало от выпитого. – Может, двести два! – добавил он воинственно.

– О-о, это много, – насмешливо протянул Колька. – Ужасно много. А ты, Борька, сколько раз?

Невольно мне вспомнился единственный поцелуй с Ирккой.

– Отвяжись, – сказал я и отхлебнул из бутылки.

– Счет потерял, да? Эх вы, щенята-поросята розовые.

– На себя посмотри! – кипятился Т. Т. – На свои розовые щечки.

Колька печально провел ладонью по щеке и сказал:

– Это, брат, ошибка природы. Ну ничего... исправим... А тебя, головастик, женщины не будут любить.

– Как это – не будут? Почему?

– В тебе легкости нет, – сказал Колька. – А они любят легкость. Чтоб с ними шутили, играли. Чтоб ласкали.

Я посмотрел на Т. Т. Он, когда сердился, двигал своей лбиной вверх-вниз. «А у него что на роже написано?» – подумал я. Но ничего не придумал.

– Легкость! – выкрикнул он. – Скажи – легкомыслие. Да, я не безмог... не безмозглый бодрячок. Ну и что? При чем тут – будут, не будут любить?

– Хватит, – сказал я, – а то до драки дойдете.

– Любовь – серьезное чувство двух равноправных...

– Чушь! – крикнул Колька с пустой бутылкой в руке. Любовь – сладость, игра, хорошее настроение! Я знаю, что вечером свидание, так у меня весь день кровь играет в жилах. Понял, головастик?

– И понимать не хочу!

– И ты, Боречка, не хочешь понимать?

– Иди ты к черту! – сказал я с чувством.

Колька захохотал и, делая вид, что играет на бутылке как на гитаре, подступил ко мне, запел гнусаво:

– «Что ж ты опустила глаза-а-а... Разве я неправду сказа-ал...»

Отбросив бутылку и мыча на мотив известного танго, он схватил меня и попытался закружить. Я отбивался, но он держал крепко, и в конце концов я подчинился его хватке. Мне стало весело. Я во всю мочь подхватил мотив, мы с Колькой завертелись, закружились, нарочно взбрыкивая ногами и жеманно выгибаясь на руке друг у друга. Т. Т. не выдержал – вскочил и тоже пустился в пляс. Мы сцепились все трое и начали выкамаривать такие антраша, что старый выщербленный паркет застонал от боли и недоумения. Мы орали, стараясь перекрыть друг друга: «Что ж ты опустила глаза-а-а!» Мы прыгали друг другу в объятия, как балерины. Мы веселились, как кретины в «комнате смеха».

Здорово согрелись.

Потом мы положили самые толстые подшивки на железные перекладины и все трое заснули на широченной кровати Петра Третьего. Я и во сне продолжал кружиться и отплясывать, теперь и Марина появилась в своей шубке из шкуры черного пуделя, а Колька к ней разлетелся и звякнул шпорами – почему-то он был в ботфортах со шпорами, – и Марина закружилась с ним, и тут из-за белой колонны выдвинулся кто-то, лица было не разглядеть, кто-то серый выдвинулся и замахнулся поленом, я бросился, чтоб выбить у него из рук полено, но он успел метнуть и в тот же миг исчез, будто растворился – я только успел заметить, что Колька падает с окровавленным лицом... Я закричал и проснулся.

Я проснулся от холода и от того, что железная перекладина, с которой сползла подшивка, очень уж впилась мне в бок. Колька сопел рядом, лежа на спине. А Толика не было. У меня сильно билось сердце от пережитого во сне ужаса. Я встал и пошел искать Т. Т. В окна гляделась незнакомая ночь со смутными силуэтами деревьев. Т. Т. спал на полу, обложившись подшивками с головы до ног. А я и не слышал, когда он слез с царской кровати.

После обстрелов наш островок дымился, как вулкан. Ночь пахла дымом – к этому я уже привык. Но, странное дело, по утрам запах гари казался мне – не знаю, как назвать... – противоестественным, что ли...

Рассвет освещал привычную картину: в серой воде окаменевшими чудовищами лежали островки и скалы; те, что поближе, – четко очерченные, те, что подальше, – призрачные, затянутые дымкой. Чайки ходили кругами над плесом и беспокойно кричали.

Большая скала – наше единственное укрытие – была серая, шершавая, в рыжих пятнах мха. Из расселин торчали мелкокорослые сосны, искалеченные осколками мин и снарядов. Одна сосна, переломленная пополам, нагнула реденькую крону к подножию уцелевшей соседки, и обе они, если посмотреть сбоку, образовали букву N. Их корни цеплялись за скалу, как скрюченные нагруженные руки.

Бледные и небритые, обвешанные оружием, мы сидели под большой скалой и не то завтракали, не то обедали. Шлюпка с Хорсена пришла поздно, под утро, и наш ночной обед превратился таким образом в завтрак. Ваня Шунтиков наливал каждому в котелок чумичку горохового супу из термоса, а из второго накладывал в крышки пшеничную кашу.

– Добавочки бы... – сказал Т. Т., облизав, как положено, ложку.

– Не выйдет, – сказал Шунтиков. – Для вахты осталось.

– У Иван Севастьяныча не разживешься, – заметил Безверхов.

Сашка Игнатьев вытер ладонью губы, не слишком жирные после каши, спросил Шунтикова:

– А ты, Иван Севастьяныч, случайно не родственником приходишься Иоганну Севастьяну Баху?

Перед самой войной мы смотрели в Доме Флота картину «Антон Иванович сердится», там был смешной эпизод с композитором Бахом.

– Иоганн Севастьян Шунтиков-Бах! – выпалил Сашка.

Мы засмеялись: Шунтиков-Бах!

– Тихо, смехачи. Фиников перебудите, – сказал Ушкало, затянувшись самокруткой. – Новость хотите? Капитан велел забросить на остров продовольствие, сами готовить будем. А то каждую ночь гонять шлюпку – шторма скоро начнутся.

Зазвонил телефон. Ушкало пробасил в трубку: «Я – Молния» и некоторое время слушал: с Хорсена передали утреннюю оперативную сводку. Положив трубку, Ушкало молча докурил сигарку, пока не спалил до крайнего предела.

– Так что в сводке, главный? – спросил Безверхов. Он, по своему обыкновению, обстругивал финкой сосновую ветку, придавая ей форму человека в каске.

От кого-то я слышал, что Безверхов до службы плотничал. Он был родом из Бологого и считал меня, ленинградца, своим земляком, хотя от Бологого до Ленинграда столько же, сколько и до Москвы. Так что Андрей мог сойти и за москвича.

– Бои на Одесском направлении, – сказал Ушкало. – И Новгородском.

– Новгородское уже? – Безверхов покрутил головой. – Да что ж это такое? Мы тут стоим, целый архипелаг захватили и держим, а там сплошное отступление...

– Еще вот что в сводке, – разжал твердые губы Ушкало. – Наши войска вошли в Иран. Наши и английские.

– В Иран? – Литвак, вроде бы дремавший с надвинутой на глаза пилоткой, рывком сел и устремил немигающий взгляд на Ушкало. – Гэто зачем?

– Я не запомнил. Вроде для того, чтоб немцев опередить.

– Точно, – подтвердил Т. Т. – Чтобы не дать Германии захватить Иран. И угрожать оттуда Баку.

– Откуда ты знаешь? – покосился на него Ушкало.

– По логике выходит. В Баку – нефть. Гитлеру нефть очень нужна, так? Ну, вот и получается, что нужно Иран обезопасить.

– Логыка, – проворчал Литвак. – Заусегда говорили: пяди сваей земли не аддадим. А зараз што? Свое аддаем, чужое бером. Где ж логыка?

– Да ты что? – уставился на Литвака Т. Т. Он сидел, привалившись спиной к скале, сняв каску с круглой головы, на которой уже проросла бурая растительность. Его лоб двинулся вверх-вниз. – Ты что говоришь?

– То, что слушаешь.

– А чего? – сказал Безверхов. – Мы ж держим Гангут. Значит, и там держаться должны. Сколько можно отступать? Вон под Таллином уже он. Главная ж база на Балтике. А я, братцы, если б командующим был, знаете что? Я бы с Гангута снял всех и – под Таллин. Отогнать Гитлера с Финского залива.

Ушкало сказал:

– Нельзя с Гангута сымать. Мы держим вход в залив, понятно?

– Ну, узяли мы тут острова, – слышал я быстрый говор Литвака. – А дальше што? Почему, той самы, Стурхольму ня бером? Цяпер Стурхольму трэба брать и дальше ийти. Тут до ихных Хельсинок не далеко, вось и трэба усим нашим войском...

– Своих мертвых похоронить не можем, – сказал я неожиданно для самого себя, будто подумал вслух, – а туда же... на Хельсинки...

– Каких таких мертвых? – Главный упер в меня тяжелый взгляд.

– Шамрая, – сказал я. – И моториста... Который день они лежат...

– На войне обстановка бывает всякая. Всякая бывает обстановка.

– При чем тут обстановка? Ни черта мы не стоим, если своих мертвых не можем похоронить! – сказал я запальчиво, да что там запальчиво – яростно. – Дерьмо мы, вот и все!

– Придержи язык, Земсков! Чего разорался? – Ушкало сдерживал себя. – Тебя не спрашивают.

– А вы спросите! – крикнул я. – Вы спросите!.. Мы войну проиграем, если своих товарищей бросим тут гнить!

Откуда слова такие взялись?..

Конечно, я слышал, как Ушкало костерил меня, грозил выгнать – за недисциплинированность – из десантного отряда. Слышал все это. Но – странно! – мне теперь был безразличен начальственный гнев. Я перестал бояться – вот что.

Я растянулся на своем ложе, меж сосновых корней; несколько веток, срубленных арт-огнем, сунул под голову. Винтовку положил рядом – приклад на земле, ствол на перевернутой каске.

– Что на тебя нашло, Борис? – шептал Т. Т., пристроившийся рядом. – Орешь черт знает что... «Войну проиграем»...

Я не отвечал. Что толку? Все равно будет так, как Ушкало прикажет... в соответствии с обстановкой... а обстановка не позволяет пройти к «Тюленю», и весь сказ...

Я перевернулся на другой бок, спиной к Т. Т., спиной ко всем. Меня клонило в сон – спасу нет...

Мы шли с Иркой по Университетской набережной, я пытался закурить на ветру, а Ирка вдруг удивленно спросила: «Когда это ты начал курить?» А я смотрел на тот берег Невы и там, где полагалось быть Исаакию, видел остров, поросший темной хвоей, и еще островки, и вдруг из-за них выплыл, стуча движком, старенький мотобот. В нем сидели бородатые люди в кольчугах и остроконечных шлемах, их копы торчали как частокол. Викинги! Я обернулся к Ирке, чтобы показать ей корабль викингов, но увидел, как Сашка Игнатьев уводит ее, обняв за бедра. Они свернули за угол Съездовской линии. Я побежал за ними. Из открытого окна смотрел на меня лысый кларнетист и смеялся. Я погрозил ему кулаком, а он приставил ко рту кларнет и заиграл. И тут я заметил, что это вовсе не кларнетист, а кто-то со стертым лицом, весь серый, и вместо кларнета у него автомат «Суоми». Он прицелился в меня из автомата, я шарахнулся, спрятался за большой отвесной скалой. Теперь я был в безопасности. Вдруг скала качнулась на фоне багрового неба, вздыбилась и начала медленно, бесшумно падать на меня. Я заорал...

Но кричал, должно быть, не наяву, а во сне. Никто не смотрел на меня, когда я проснулся. Скала была на месте. Тьфу, чертовщина!

Лицо было потное, щека исколота сухими хвойными иголками. Я осторожно повернулся на другой бок и увидел Ушкало. Он, сгорбившись, сидел на камне возле телефона. Отворот серого свитера был выпущен на воротник его кителя. Лицо Ушкало было хмурым. Рядом с ним, спиной ко мне, сидел Толя Темляков. У него был напряженный затылок – так мне показалось. Остальные ребята, сменившиеся с вахты, спали кто где.

– Ну и что? – сказал Ушкало. – Дальше что?

– Ничего, – ответил Т. Т. тихим голосом. – Просто ставлю вас в известность.

– Слушай, Темляков. Я Литвака полтора месяца знаю. В боевой обстановке. В десантах. А не без году неделю, как тебя. Так что ты мне голову не морочь.

– Я не морочу, – тихо, но твердо отвечал Т. Т. – Просто ставлю вас как командира в известность. Имеются нездоровые настроения.

– Хреновину порешь. – Ушкало закурил, с силой выдохнул махорочный дым. – Я сам разберусь, у кого какие настроения. Разберусь сам.

Т. Т. стал устраиваться под скалой, лег. Наши взгляды встретились. Но только на миг. Я закрыл глаза.

Ушкало пригрозил выгнать меня из десантного отряда – а за что? Со своими нехитрыми обязанностями телефониста я управлялся. Вахты стоял (вернее, лежал) не хуже других. Сна на посту не допускал – ни-ни! Так за что же гнать? За то, что хочу похоронить по-человечески погибших товарищей?

Я задал этот вопрос, не дававший покоя, Андрею Безверхову, «земляку» из Бологого.

– Не в том дело, – сказал он, обстругивая ветку. – Похоронить, само собой, надо.

– А в чем же? – настаивал я.

– Чего ты вяжешься, Земсков? Шамрай был твой друг, да? Потому и кричишь громче всех: Шамрай, Шамрай! – Он зло скривил заячью губу. – А если б он не был тебе друг? Молчал бы в тряпку, так?

Ошеломленный, я повторял про себя безжалостный вопрос Безверхова – и не находил ответа. Честного ответа! Ну-ка, ответь как на духу, Боря Земсков: кричал бы ты «громче всех», если б там, в затонувшем мотоботе у ничейного островка, лежал не Колька Шамрай, а другой, не знакомый тебе человек? Ну-ка, честно: «вязался» бы ты к командиру острова с требованием гнать туда шлюпку? Или ждал бы тихонечко, что решит начальство? Молчал бы в тряпку, а?

Этот разговор с Безверховым произошел, как сейчас помню, второго сентября. День был ветреный, облака шли бесконечно, пока не затянули небо сплошной серой завесой. Под вечер прошумел по-осеннему холодный дождь. А ночью к юго-востоку от нас началась пальба. Там клубились дымзавесы. С Хорсена позвонил начштаба отряда и приказал повысить бдительность: возможен финский десант. Мы – семнадцать штыков – рассредоточились по всему берегу нашего крохотульного островка и смотрели в оба: не идут ли шлюпки с десантом? К нам не шли. Но бой к юго-востоку от Молнии, судя по автоматно-пулеметному хору, разгорался. Лишь под утро мы узнали, что финны высадились на Гунхольм. В шхерной тесноте этот остров, как бы перетянутый в талии, похожий на 8 (мы его и называли Восьмеркой), занимал заметное место. Взятый нашим десантным отрядом в конце июля, он прикрывал Хорсен – ключевую позицию архипелага. Мы-то на Молнии были, в сущности, боевым охранением, выдвинутым вперед, под нос противника, а вот Восьмерка – вместе с Эльмхольмом и Хорсеном – обеспечивала северо-западный фланг гангутской обороны.

Всю ночь там гремел бой. С Хорсена – через Старкерн – на Гунхольм была брошена резервная рота, в ее составе и взвод мичмана Щербинина. На рассвете сбросили финский десант в море. Но и наши понесли потери.

Утром, как обычно, позвонили с Хорсена. Ушкало с непроницаемым лицом выслушал утреннюю оперативную сводку и про ночной бой, а потом спросил:

– Не знаете, товарищ комиссар, как там семьи?.. Ну, которые в Таллин эвакуированные... Доехали до Питера ай нет?.. Ясно... Ясно, товарищ комиссар.

Он коротко пересказал нам сводку и про Гунхольм. И добавил, выпуская изо рта клубы махорочного дыма в холодный воздух утра:

– Повышать бдительность комиссар требует. И дисциплину. Понятно? – Он искоса глянул на меня, и я замер над котелком с «блондинкой». – А то тут некоторые бойцы язык пораспускали.

Т. Т. с силой сжал мое предплечье. Молчи, мол. И я промолчал. В тряпку.

– Главный, – сказал Литвак, дочиста облизав ложку и пряча ее за голенище. – Пасля боя фыники, той самы, некальки дней аддыхают, верно? И ночи цёмные. Зробим сегодня у ноч яшче адну спробу? – Он кивнул в сторону «Тюленя».

– Сам же видел – не пройти, – хмуро сказал Ушкало.

– Можна пройти, главный. Я придумау. Трыццать хвилин памиж дзвумя ракетами – над-дать сильно – проскочим.

– Гробануться вам, что ли, не терпится, – проворчал Ушкало.

– Кто казау – гробануться? Тю! – презрительно скривился Литвак. Вот кто умел выдавать презрительную усмешку под ядрами. – То нам не трэба. Аднак скучно жа тут без дела сидзеть. Трохи размяцца...

– Размяться! – сердито повторил Ушкало. – Если делать нечего, возьми лопату, сделай капонир.

– Стурхольму возьмем – тама надзелаем капониров. Або яшче дальше пойдзем. Той самы, на гэту... Падваланду.

Не только Литвак – мы все считали, что тут, на Молнии, сидим временно, что не сегодня завтра придет приказ высаживаться на Стурхольм... А там и на материковую стенку шхерного района – на полуостров Падваландет...

Кажется, не собирался наш командир острова осуществить свою угрозу – выгнать меня из десантного отряда. Я знал от Андрея Безверхова, его сослуживца по бригаде торпедных катеров, что в начале войны Ушкало отправил свою семью в Таллин. С Ханко в два приема эвакуировали всех жен и детей – первая группа, две с половиной тысячи, ушла 22 июня на задержанном для этого командиром базы турбоэлектроходе «И. Сталин», а вторая, еще две тысячи, – 24 июня на транспорте «Сомерин» и плавмастерской «Серп и молот». Вот на этом «Серпе и молоте» ушла, уплыла в Таллин молодая жена Ушкало с полугодовалой дочкой. Эвакуация была внезапная, успевали взять в дорогу лишь минимум вещей, остальное бросали. В июле, когда мы, связисты, работали на линии, я не раз видел в окнах брошенных квартир цветы, банки, тарелки с остатками еды, книги...

Впервые я подумал, что Ушкало, может, потому такой хмурый, что не знает, где его семья.

Ночью ко мне на вахту приполз Литвак. На сей раз я не проморгал его, хоть он и полз, по своему кошачьему обыкновению, бесшумно.

– Ну что? – прошептал он, улегшись рядом со мной. – Парадок?

Ночь была темная, без луны и звезд. Ветер посвистывал в верхушках сосен.

– Порядок, – ответил я. – Так пустит тебя главный к «Тюленю»?

Литвак, прищурясь, смотрел на черную зубчатую стену «Хвоста». Там было тихо. Финны «отдыхали» после Гунхольма. Только ракеты взвивались через равные промежутки времени, освещали притихшие шхеры неживым светом.

– Можа, заутра пойдзём, – сказал Литвак и посмотрел на меня. – Пойдзёшь со мной?

Я кивнул.

Ушкало не стал возражать. Только буркнул:

– А если тут связь оборвет?

Со связью я после вахты основательно повозился – проверил ненадежные сростки и по всей длине запрятал провод в расщелины. Там, где щели были глубоки, я подвесил его на рогульках, вырезанных из сосновых веток. Теперь линия нигде не вылезала на поверхность – до самой воды была запрятана.

- В крайнем случае, – сказал я, – Игнатьев исправит.
- Исправлю, – подтвердил Сашка. – Делов-то, два конца сростить.
- Ладно, – согласился Ушкало. – Третьим кто пойдет?
- Еремин, – сказал Литвак.
- Ну нет. Еремин пусть варит кашу. Кашу пусть варит.

Уже третью ночь Еремин – маленький улыбчивый человек с заостряющимся книзу личиком – варил горячие обеды. Большая скала укрывала костер от финских глаз. В эмалированном ведре, подвешенном над костром, быстро поспевал суп, а затем Еремин варил в котле пшенку или длинные серые макароны и сдабривал их волокнистыми мясными консервами. Еще обеды были приправлены дымом. Конечно, финны видели колеблющийся на ветру отсвет костра и пытались достать нашу кухню из миномета, но не достали. А однажды в ведро с гороховым супом плюхнулась ветка, срезанная осколком, и мы в ту ночь ели суп, выплевывая иголки.

- Вот что, – сказал Ушкало. – Третьим пойдет Темляков.

Услыхав свою фамилию, Т. Т. посмотрел на Ушкало внимательным взглядом.

– Можешь отказаться, – добавил Ушкало. – На такое дело приказывать не могу. Добровольное дело.

Темляков облизнул сухие губы. И сказал:

- Есть, товарищ командир.

Литвак изложил план операции, очень простой: меж двух ракет мы должны так нажать на весла, чтобы проскочить открытый плес, вот и все. Затем нам было велено отдыхать.

Мне не спалось. Я смотрел, как догорает слабый, за облаками, закат, слушал плеск прибойных волн, а мысли мои блуждали по Ленинграду. Я как бы летел, пошевеливая крыльями, над городом, над каналом Грибоедова, и вылетел прямехонько к Казанскому собору, к вечерним огням Невского. Я сел на башенку Дома книги и стал, как Демон на кавказские долины, смотреть на бегущие красные вагончики трамваев, на плывущие по обе стороны Невского толпы. Я слышал шарканье подошв, гудки автомобилей, женский смех...

Женский смех будоражил душу. Вдруг я представил себе Марину – как она говорит сквозь смех: «Какие у вас лица смешные»... Это когда мы в Ораниенбауме на вокзале узнали, что электрички не ходят... Вот она во дворце, в зале муз, где на стенах нарисованы все они, все девять, объясняет нам: это муза танцев Терпсихора... а это муза трагедии... как ее... Мельпомена, что ли... а вот Клио – муза истории... Такая серьезная эта Клио. Чем-то похожа на Марину. Широко раскрыв глаза, всматривается в даль, а в руке держит трубу. Труба как бы повторена под ней в рисунке узорного паркета. Зачем музе истории труба? Что она готовится трубить?

А закат догорел. Сгущается тьма. Вот теперь заныло что-то в душе... и тихонько возникает в памяти мотив старого танго: «Приходит вечер, вдали закат погас, и облака толпой плывут на запад...» В клубе каком-то, в Доме промкооперации, что ли, были однажды школьной гурьбой на первомайском вечере, – вот там, когда начались танцы, запела радиолы: «Приходит вечер, вдали закат погас...» Ах ну да, это Варламов. Здорово поет...

Рядом завозился, заворочался Т. Т.

- Спишь, Борька?
- Н-нет, – сказал я. Не хотелось разговаривать.
- Галету хочешь?
- Нет.

– Борька, – сказал он, помолчав немного, – у меня в вещмешке бумажник, там харьковский адрес. Ты в случае чего напиши...

– Да брось ты, – сказал я, досадливо дернув головой.

– Мало ли что. – Опять Т. Т. помолчал, а потом: – У меня родители замечательные. Отец бухгалтер на ХТЗ. Такой, знаешь, книжный червь... обожает мемуары великих людей... Плутарха – наизусть... А мама пианистка Госконцерта, вечно в разъездах...

Я поежился от ночного холода. Ногам было холодно. Особенно левой, где дырка в носке. Где пятка наружу. «Ленивая скотина», – уже в который раз обругал я себя. И подумал о своей маме. Уж она бы заштопала мне носок. Уж она бы...

– У меня братишка младший, Витька, – сказал Т. Т., – знаешь какой талантливый?

Я знал. О своем Витьке Т. Т. вечно рассказывал с придыханием: скрипач, талант, в Харькове с детских лет знаменитость...

– Знаю, – сказал я, шевеля пальцами в ботинках. – Как Буся Гольдштейн.

– Ты не представляешь, Борька, какой он музыкальный. Раз услышит мотив или песенку – и готово, дает ее на скрипке...

Что это с Т. Т.? Не может остановиться. А хорошо, что пойдем вместе в операцию. Толька гребец хороший, мы были как-то на островах в парке культуры, несколько девочек из нашей группы и мы с Т. Т., – целый день провели на лодках, утюжили протоки, в залив выходили. Да, с веслами Толька управляется что надо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.